

ЗВЕЗДА

Босфока

---

2-3 / 3

СОЮЗ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ УЗБЕКИСТАНА

ТАШКЕНТ . 1947

3B33TA

8-2

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

TABLE OF CONTENTS



# ЗВЕЗДА Востока

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  
Л И Т Е Р А Т У Р Н О -  
Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й  
И О Б Щ Е С Т В Е Н Н О -  
П О Л И Т И Ч Е С К И Й  
Ж У Р Н А Л

ОРГАН СОЮЗА

СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ УЗБЕКИСТАНА

№ 2-3 / Объединенное изд-во „Правда Востока“ и „Кзыл Узбекистан“ 1947

3

А. КАХХАР

## „ДВА ЧИНАРА“

Роман

Продолжение<sup>1</sup>

КУРБАН АТА

Сыдык-джан уходил из дому с решительным намерением, нигде не останавливаясь, добраться к рассвету до станции, сесть в первый же проходящий поезд и ехать, все равно куда, а там поступить на первый попавшийся на глаза завод и работать, работать без передышки, пока хватит сил. Занятый этими мыслями, Сыдык-джан шагал быстро, не замечая ни времени, ни дороги, и поостыл только около полуночи на подходе к кишлаку Пять козлов. Тут ему сразу стало заметно, что ночь очень темная, а дорога плохая, и он решил переночевать в Пяти козлах.

Кишлак спал крепким сном. Сыдык-джан повернул на огонек, мерцавший под большим развесистым деревом, несколько в стороне от дороги. Это была красная чайхана. Чайхана была уже закрыта. Со стороны супы, расположенной на берегу водоема, доносился громкий храп; под деревом какой-то старик неторопливо перетирал пиалы и чайники. Сыдык-джан поздоровался с ним. Тот резко повернулся и выронил из рук чайник. Чайник разбился.

— Рука у меня с изъязном, сын мой, — проговорил старик, заметив смущение Сыдык-джана. — Да, с изъязном. Вот эта, правая. И нога правая — тоже... Добро пожаловать, сын мой! Что-то в неурочный час вы?

— Да. Я в Одинокий тут направился было.. Из Отдельного хутора иду.

<sup>1</sup> См. „Звезда Востока“ № 1—1947 г.



Хотя Сыдык-джан ничего не сказал о дальнейших своих намерениях, старик, упомянув о том, что безо времени оставаться в пути неразумно, посоветовал ему заночевать в чайхане и выйти в дорогу с рассветом. Сыдык-джан был рад этому предложению, хотя и старался показать, что остается только из уважения к старшему: даже после того, как старик разостлал ему одеяло, он долго сидел, не снимая второго сапога, будто все еще раздумывал.

— Снимайте ваш сапог, завтра я разбуду вас пораньше, — заговорил старик, устраивая себе место на ночь. — Советую вам: никогда не оставайтесь в пути в неурочное время. В ваши годы на мою голову пало одно несчастье. Пришлось мне выйти из Бувайды и, как вам, задержаться в пути допоздна. Перед самым рассветом иду я по Конскому ристалищу и, можно ли поверить, — прямо передо мной под ивой лежит тигр! Волосы у меня торчком встали, дрожь по телу прошла. Вернуться — кинется вслед, обойти — нет возможности. Застыл я на месте. Не знаю, сколько и простоял так. На счастье арба с той стороны показалась... Потом разглядел, а это никакой не тигр, просто тень от ивы пестрела, ночь лунная была. Вот так. Полагаться на себя, мол, я ничего не боюсь, нельзя, сын мой. В такое время сердце человека из его воли выходит. Огонь тушить?

— Как хотите, — отозвался Сыдык-джан и долго лежал молча, потом спросил: — Сами вы из Бувайды будете? Говорят, бувайдинский ишан Саид-Ахрар, побоявшись позора, удушил тринадцатилетнюю девочку. Одни потом говорили, что он сбежал, другие — что пойман. Вы не слышали, чем это дело кончилось?

— Саид-Ахрар ишан? Это дядя Саид-Абраара юзбаши<sup>1</sup>? Нет, об этом случае мне ничего не известно. Как я из Бувайды ушел, минуло уже двадцать с лишним лет. А может и больше. Говорил я, что с тигром повстречался, вот с тех пор, как ушел — и не вернулся.

— Вот как? А почему?

Старик ответил не сразу. Он разделся, забрался под одеяло и лишь после этого сказал:

— Вода Бувайды, видно, оказалась для меня заказанной... — И пояснил: — из-за жены.

— Жена нехорошей оказалась?

— Жена была хорошая, — вздохнул старик, — только рассказывать о том, и до рассвета не кончишь. Если бы кто записал все это, большая книга получилась бы.

— Может ли человек уйти от хорошей жены?

— Слыхали вы такой стих: „Все перевернулось, недоброе время настало, воротник на месте полы оказался!“ Принято бегать от плохих жен, а если время недоброе, и от хорошей жены убежит человек. Прежде она была женой моего старшего

<sup>1</sup> Юзбаши — должностное лицо царской администрации.

брата. Брат же мой был работником того самого Саид-Абраара юзбаши, что я помянул перед этим. Богатств и добра у Саид-Абраара было несчетно много: дом его по ночам охранялся двенадцатью стражниками-мергенами<sup>1</sup>. В один из дней, совсем еще засветло, незадолго до предзакатной молитвы, на дом юзбаши напали разбойники. И разбойники какие-то особенные: идут, песни поют и кричат сами же: „Торопитесь, на дом юзбаши разбойники напали!“ Наутро потом прошел слух, что убит один из стражников. А с юзбаши они тоже очень чудно поступили. Был у него сундук золота. Вынесли разбойники тот сундук, поставили перед юзбаши: „Ешь, — говорят, — сколько можешь, а что останется, мы с собой унесем“. Юзбаши принялся глотать золотые. Сглотнул, сколько мог, а когда перестал, разбойники принялись запихивать золото ему в рот силой.

Сыдык-джан рассмеялся:

— Что он, не мог сказать: все, мол, отдаю вам?

— Не такой он человек был, чтобы так сказать. Короче говоря, подох он, что жадный пес, сглотнувший отраву, — в страшных муках. Наутро из города прибыли солдаты и угнали много людей, а в ряду с ними и моего старшего брата. По кишлаку потом ходил слух, будто для допроса этих людей должен был прибыть сам белый падишах.

Старик помолчал, словно хотел собраться с мыслями, потом заговорил снова:

— Прошел год. В один из дней элликбаши<sup>2</sup> нашей общины, вернувшись из города, сказал мне: „Брат твой повешен, я своими глазами видел“. Провели мы поминки. Прошло после этого два-три месяца, — невестка со слезами прибежала к нашей родительнице: „Элликбаши на меня заглядывается. Если судьба мне соединиться с ним, я в водоеме утоплюсь“, — говорит. И в самом деле, не прошло и нескольких дней, как элликбаши засылает женщин. Невестка выгнала свах. Мать никак не хотела выпускать из рук такую хорошую невестку. К тому же от брата осталась дочка двух лет. Что тут делать? Такой тогда обычай был: взял я невестку себе в жены.

Старик тяжело вздохнул.

— Прожили мы с ней около четырех месяцев, — продолжал он с грустью. — Я работал возчиком у Абдурахмана-хлопковика. В один из дней еду я, хлопок в город везу: встречает меня у Трёх мостов один приятель и говорит: „Эй! Брат твой живой, оказывается! Видал его в городе, домой собирался.“ „Брат! — обрадовался я, — только... с какими глазами я предстану перед ним!“ — думаю.

— Совестно, верно, — согласился Сыдык-джан.

— И, скажите, как совестно. Кинул я коня и, не оглядываясь, пошел, как говорится, куда голова клонила. Даже домой не за-

<sup>1</sup> Мерген — стрелок, охотник.

<sup>2</sup> Элликбаши — старшина квартала или общины.

глянул. Так и ушел. Опомнился я только в том месте, где, как я рассказывал, с тигром повстречался. А спросите, что сделал брат! Подходит он к Трем мостам, а ему кто-то: „Домой,— говорит,— можешь не ходить, жену твою младший твой брат за себя взял“. Он тоже повернулся и—в другую сторону. Оказалось, брат, бедняга, из Сибири бежал. Его потом выследил амин<sup>1</sup>. Брат увидал, что ему не уйти от Сибири. „Если,— говорит,— необходимо, чтобы я в Сибири был, то пусть хоть не зря“,— ударил амина головой в грудь и убил наповал.

Сыдык-джан приподнялся на локте.

— Вы, конечно, тогда ничего не знали об этих делах?

— Да, об этом я после узнал. В тот год я добывал себе пропитание, где придется, а на весну уехал в Алма-Ата.

— А как же с семьей?— спросил Сыдык-джан.

Старик продолжал:

— Когда брат снова попал в тюрьму, эликбаши и меня записал в умершие, а сам опять стал засылать к невестке сваху за свахой. Под конец начал запугивать.

— Что, она такая красивая была?

— Как сказать! Разумна, станом стройна, здорова. Сила у ней была такая, что за доброго мужчину сработает. Эликбаши, вы думаете, только на ее красоту зарился? Ему была нужна даровая безропотная работница... И вот, смотрит она, эликбаши не отстает. „Ладно,— говорит,— я выйду, только есть у меня одно условие. А условие мое такое: я не хочу брать свою дочь в дом отчима. Мне надо продать дом с усадьбой, что остался ей от отца, и пристроить ее у кого-нибудь из своих родичей. Если для эликбаши это подходит, пусть даст мне за дом хорошие деньги“. Эликбаши такое условие очень понравилось. Он тут же уплатил ей за дом, и даже намного больше настоящей его цены. А жена распродала все остальное и в одну из ночей будто сквозь землю провалилась. Эликбаши и туда гонцов слал, и сюда—нет! А жена отправилась в свой кишлак Глубокий родник, где руки эликбаши уже не могли ее достать. Глубокий родник—это недалеко отсюда, на той стороне реки. Прошло года два, в Алма-Ата из Бувайды приехал один человек. От него я узнал обо всем и стал готовиться к отъезду. В те времена, сын мой, такому человеку, как я, легче было умереть, чем отложить в запас три-четыре теньги<sup>2</sup>. Пока я собирался, прошло еще три-четыре месяца. Приезжаю я, справился и оказалось, что жена вышла замуж за человека по имени Фарманкул. Человек тот был родом из кишлака Капсанчи<sup>3</sup>.

— Капсанчи?—переспросил Сыдык-джан.—Что за название такое?

— Да, Капсанчи. В старое время все земли по берегу реки,

<sup>1</sup> Амин — представитель царской администрации.

<sup>2</sup> Теньга — серебряная монета в 20 коп.

<sup>3</sup> Капсанчи — человек, живущий на иждивении общины, побирушка.

начиная от Наймана и кончая Островом царевича, принадлежали одному ишану по имени Абду-Ваккас, а водокачки, что перекачивали воду из реки, — одному русскому князю. Дехкане, которые пахали тогда эти земли, и с голоду не умирали, и сыты никогда не бывали. Это были настоящие рабы. После уплаты ишану доли, полагавшейся за аренду земли, и князю за воду, у них от урожая оставалось не больше, чем другие жертвовали беднякам после снятия урожая. Поэтому их и прозвали капсанчами. От этого же и название кишлака пошло. Так... О чем я говорил?

— Жена ваша вышла замуж за человека из капсанчей...

— Да, Фарманкул был из капсанчей. Посчитав неудобным идти прямо в дом Фарманкула, я послал туда одного мальчика и с ним передал: „Я, мол, такой-то. Прибыл сюда, чтобы забрать с собой мать“. Сiju я в чайхане, и только успел чайник чаю выпить, как ко мне подходит какой-то сухошавый парень и спрашивает: „Братец Курбан не вы будете?“ После того, как я ответил ему: „Да, я буду“, — он поздоровался и назвал себя. Это был сам Фарманкул. Как ни отказывался я, Фарманкул все же потащил меня к себе на двор. Когда мы шли, я подумал. „Должно быть, он хорошенько не знает, кто я, наверное жена скрыла от него“. А оказалось — нет. Фарманкул знал. Дорогой он сказал мне: „Не будьте в обиде, такая, видно, судьба“. Пришли мы. Двор его оказался на самом берегу реки, а дом, как и у других, — не дом, а землянка. В круче была вырыта яма, яма та сверху прикрыта крышей, вокруг клочок земли огорожен дувалом, вот и все владенье. Фарманкул провел меня прямо в землянку. Там лежала мать, она была нездорова. Фарманкул оставил нас вдвоем и вышел. Родительница со слезами рассказала мне все, как было. „Что случилось, то случилось, — сказала она под конец. — Если ты хочешь, чтобы я была довольна тобой на этом и на том свете, сделай так, чтобы осталась довольна и эта женщина“.

Старик тяжело вздохнул.

— Через некоторое время вернулся Фарманкул и привел с собой жену с дочерью, — продолжал он, немного помолчав. — Жена не стала скрывать от меня лица. Сидим мы все, и хоть бы кто кому слово сказал. Хорошо еще девочка для всех забавой была. Все мы только с ней и разговаривали... Настал вечер. Собрался было я в чайхану, но Фарманкул не пустил. Остался я у них. Родительница с женой и внучкой легли в землянке, мы с Фарманкулом — на дворе. Нам не спалось. Я выжидал, когда заговорит Фарманкул, а он — наверное, чтоб заговорил я. Когда я спросил, как живут капсанчи, он сразу же подхватил. Капсанчи уже несколько лет, как стали бросать свои родные места и разбегаться, кто куда. Тогда ишан объявил, что будет раздавать свои земли за очень низкую арендную плату. Плата и в самом деле оказалась низкой, такой низкой, что землю стали брать чуть ли не в драку. И другие условия аренды на первый раз показались очень хорошими: чем больше берешь земли, тем на

большой срок она сдается, и арендная плата тоже не наличными, а в рассрочку. Дехканин выдавал ишану вексель и должен был выплачивать понемногу, частями — в течение всего срока, на какой брал землю. Фарманкул тоже погорячился: взял он участок земли на десять лет и выдал ишану вексель. Все капсанчи в первый год радовались, многие даже мюридами<sup>1</sup> ишана стали. Однако на следующий же год из-под позолоты ишанова благодеяния показалась, как говорится, самая обыкновенная медь ишанской жадности. После стало известно, что ишан затеял это дело по сговору с князем и по его совету. Как только земли были розданы, князь тут же в три раза повысил плату за воду. Капсанчи подняли было шум, но князь пригрозил вызвать из города солдат... Фарманкул горько жаловался на свое положение. Он и прежде жил кое-как, а тут и бросил бы землю, да вексель ишану выдан. Он чуть не плакал.

Рассказ об ишанском „благодеянии“ напомнил Сыдык-джану слова тестя: „Вы и зять мой, вы и сын мой, и вся моя земля — ваша“, — и он рассмеялся.

— Над чем вы смеетесь? — спросил старик.

— Все они, оказывается, одинаковые...

— Кто это они?

— А богатые люди.

Старик продолжал:

— Прожил я у Фарманкула три дня. На четвертый день, когда стал прощаться, жена положила передо мной пачку денег и говорит: „Это ваши, за дом“. Бедняга! Сколько мук, нужды вынесла, а деньги, полученные за дом, не тронула. Когда же дело коснулось матери, жена сказала: „Мать, пока она не выздоровеет, мы не отпустим“. Спросил я родительницу, а она мне: „Куда ты сейчас со мной денешься? Прежде какое-нибудь пристанище найди. А если и будешь забирать меня, так от внучки далеко не увози“. А у самой слезы на глазах. Я предполагал отправиться в Бувайды — там свой кишлак, какая-нибудь щель и для нас найдется. Ну, а когда родительница так сказала, пришлось искать работу в этой же округе. Пошел я в контору к управляющему князя, может, думаю, на какую-нибудь водокачку человек нужен. А управляющий и говорит: „На водокачке подходящей для вас работы нет. Если неделю можете потерпеть, приедет князь, ему нужен будет человек ходить за конями“. Я согласился ждать. Дней через десять прибыл князь. С месяц он испытывал меня на работе и только определил мне месячное жалованье, как вдруг вечером приходит Фарманкул и говорит: „Пойдемте, родительница ваша вас спрашивает“. Сердце у меня так и оборвалось. Приходим мы, а она уже речи лишила, лежит, смотрит в потолок и часто-часто дышит. Наутро, когда взошло солнце, она скончалась. Хотел я после этого тут же уехать в Алма-Ата, да видно судьба такая — остался.

<sup>1</sup> Мюрид — ученик ишана.

Вскоре князь велел мне обучить одного из коней ходить в коляске. Конь, подохнуть ему нечистым, был очень строгий. Запряг я его, а он подхватил и сбросил меня с коляски в заур<sup>1</sup>. Целые сутки я пролежал без памяти, а когда очнулся, оказалось, что у меня одна рука отнялась и одна нога. Через несколько дней мне стало немного лучше, но совсем я так и не поправился. Управляющий мне объявил, что князю я больше не нужен. Тогда я снова решил покинуть эти места. Попрощался с Фарманкулом и его женой, поцеловал племянницу, поставил две свечи на могиле матери и снова отправился в Алма-Ата. На этот раз я пробыл там ровно семнадцать месяцев. За это время сначала белый падишах, а вслед за ним и другие были скинуты с трона, и меня снова потянуло в родные места, побывать на могиле матери, повидаться с племянницей и посмотреть, как живет народ при свободе. Направился я прямо в Капсанчи. Прихожу туда, смотрю, а двор и землянка Фарманкула с землей сравнены. Расспросил я, и оказалось, что Фарманкул и его жена погибли, а где племянница, никто не знает.

— Что же могло с ними случиться? — спросил Сыдык-джан.

— Что случилось? Когда власть перешла к нам, беднякам, князь сбежал, а ишан перебрался в Кипчак. Бедняги капсанчи только было стали радоваться, может, мол, и нам теперь солнышко спину пригреет, как зять ишана поднялся против власти и, ставши курбаши, появился в этих местах с шестью десятками своих головорезов. Капсанчи призвали из города отряд. Целый день и целую ночь шла битва. И вот, те, кто видел, рассказывали, что жена Фарманкула билась с басмачами, ни на шаг не отставая от мужа. И я верю. Это была женщина, которая вполне могла стать в голове сорока йигитов.

Старик минуту помолчал и продолжал:

— Не найдя племянницы, я решил пройти в Бувайды и перемолвиться парой-другой „хороших“ слов с тем эликбаши, что сделал меня бездомным бродягой. Но его тоже не оказалось. Он переметнулся к курбаши Эргашу. Поймали его только лет через пять. Надеюсь разыскать племянницу и чтобы находиться поближе к могиле матери, я снова вернулся в эти места. С тех пор и живу, добывая здесь свой хлеб. Года три—четыре летом я делал мороженое, зимой занимался починкой обуви, а после поступил караульщиком на хлопковый завод в Талдыке. Когда проходила земельная реформа, мне предлагали землю, только я отказался: что мне было делать с землей, если у меня одна рука и одна нога не работают. Когда в этих местах организовалась МТС, старшим сюда был назначен один человек с нашего завода. Он и привез меня сюда и поставил на работу в этой красной чайхане. Работой своей и я сам доволен, и старшие мои довольны. Я часто бываю у капсанчей, навещаю на могилу родительницы. Это недалеко отсюда, на берегу реки. Все кап-

<sup>1</sup> Заур — дренажная канава.

санчи сейчас собрались в один колхоз. Последнее время они все силы прилагают, чтобы вывести из реки воду. Теперь арык уже почти готов.

— А племянницу свою разыскали?—спросил Сыдык-джан.

— Долго разыскивал. Когда работал на заводе — и в газете объявлял, но она так и не нашлась. Да, не нашлась, — еще раз проговорил старик и умолк.

Где-то совсем рядом захлопал крыльями и громко прокричал петух. В ответ ему откуда-то издали отозвались другие.

— Вот такие дела, — проговорил старик долгое время спустя. — Что, спать будем, сынок?

Сыдык-джан ничего не ответил. Он уже спал.

#### КИШЛАК КАПСАНЧЕЙ

Утром после завтрака Сыдык-джан собрался было в дорогу, но Курбан-ата остановил его.

— Потерпите немного, и поедете на машине. На станцию ходят машины из МТС, — сказал он.

Сыдык-джан никогда в жизни еще не ездил на автомашинах и считал их самодвижущимися паланкинами, а шоферов — чуть ли не платонами по мудрости, поэтому он, смущенно улыбувшись, пробормотал:

— Не-ет, что вы?..

— Почему?

— Да...

— Ничего! Шофера все наши ребята, кому-нибудь из них скажу.

— А голова не будет кружиться?

Курбан-ата, прочищавший поддувало самовара куском проволоки, выпрямился и обернулся к Сыдык-джану.

— Что?!

— Голова, говорю, кружиться не будет? Я в жизни никогда не ездил...

— Не ездил? В каком же это углу вы до сих пор плеснели?!

Сыдык-джан, полагая, что старик, как и он, тоже никогда не ездил на автомобиле, не ожидал такого ответа и был очень сконфужен. Не зная, что сказать, он снял с головы тубетейку, пошелкал по ней пальцем, будто сбивал пыль, потом одел на колено и, расправляя, подергал за кромку. Слышать такие слова от шестидесятилетнего старика показалось ему особенно обидным. Поездка на автомобиле стала для него уже потребностью, неременной для каждого знающего себе цену человека. Потребность эта была настолько велика, что он пешком не пошел, и, так как на станцию ни одной машины не проследовало, весь день провел за тем, что помогал Курбану-ата: дробил уголь для самовара, наполнял водой большую глиняную корчагу, разнесил чай, подметал чайхану, даже не подумав о



том, что за этим занятием его мог увидеть кто-либо из знакомых. Курбан-ата, видя, что Сыдык-джан твердо решил ехать дальше на автомобиле, вечером сходил в МТС справиться, в какое время можно ожидать завтра машину. В связи с этим речь снова зашла об автомобиле, и Сыдык-джан подробно рассказал старику „в каком углу он до сих пор плесневел“ и каковы его дальнейшие намерения. Курбан-ата от души пожалел о зря прожитых Сыдык-джаном годах и, по-стариковски сочувствуя молодому человеку, которому выпала такая доля, сказал:

— Если так, сынок, в город вам ездить не следует. В городе немало пройдет времени, прежде чем вы научитесь какому-нибудь мастерству и сможете добыть себе кусок хлеба. В дехканском хозяйстве окрепли ваши руки, научились видеть ваши глаза, ну и не покидайте его.

— Верно, отец, у меня и склонность большая к дехканству.

— А если склонность большая, тем более, — улыбнулся Курбан-ата. — В нынешнее время человек всегда своего добьется, никогда не будет обманутым в своих надеждах. Вы так и сделайте, сынок, в город вам лучше не ездить. Председатель колхоза капсанчей, Урман-джан, все равно что сын мне. Он очень хороший йигит, и если я скажу ему, он вас примет в свой колхоз. Кстати, колхоз называется теперь не „Капсанчи“, а „Два чинара“. Да, „Два чинара“, — повторил Курбан-ата.

Сыдык-джан был очень обрадован. Два дня он не находил себе места, все мечтал: вступит он в колхоз, со всеми будет дружен, старших будет величать „братец“, младших называть „братишка“; работать он будет, не ленись, от чистого сердца, и придет время — построит себе дом, приобретет хозяйство и, приодевшись в белоснежный яхтак<sup>1</sup>, будет раскатывать на велосипеде; мать будет у него сидеть на мягких одеялах, а чтобы было кому ухаживать за ней, он возьмет себе жену — молодую, с длинными черными косами, а сама белая, пухленькая...

Через два дня приехал Урман-джан. Он оказался человеком лет под сорок; среднего роста, черный, худой, с окладистой бородой с проседью. Обут он был в неуклюжие брезентовые сапоги, одет — в защитные, заплатанные на коленях галифе и короткую, вылинявшую гимнастерку, подпоясанную желтым кушаком с вышивкой; на самой макушке головы чуть держалась чувская тюрбетейка с просаленными от пота краями. Внимательно выслушав Курбан-ата, Урман-джан пристально взглянул на Сыдык-джана.

— Вон как! — проговорил он и, протянув руку, сначала пощупал на нем яхтак, потом помял голенища сапог. — А кроме этого яхтака и сапог есть что у тебя? В нашем колхозе ты не скоро новые справишь. Прежде чем наши колхозники смогут

<sup>1</sup> Яхтак — легкий халат без подкладки.

носить яхгаки и сапоги, не раз дыни на бахче поспеют. В нашем колхозе работы много, а еды мало. Ты же, видно, к большой кормушке, к зерну привык, — не выдержишь.

Курбан-ата, взглянув на Сыдык-джана, подмигнул ему: „Не бойся, это он пугает“, — затем, обернувшись к Урман-джану, сказал:

— Урман-джан, сынок, не пугай бедного парня!

— Нет, лучше пусть знает заранее. Человек, пожелавший купить дом, не станет осматривать его, забравшись на минарет. В колхозе было сто тридцать хозяйств, осталось восемьдесят четыре. Остальные разбрелись, кто куда. Вот так!

— Слова твои справедливые, — согласился Курбан-ата, — только колхоз ваш, слава аллаху, поправляться начал. Вы уже дамбу построили и теперь избавились от бедствий наводнения. И арык скоро готов будет. Уже поэтому видно, что колхоз скоро поправится.

— Конечно, поправится! Этому все верят. Даже те, что сбежали. Сбежали они не потому, что не верили, — не выдержали тяжелой работы. Если бы люди не верили, что колхоз поправится, разве они работали бы так?

— Верно, сын мой! Люди, у которых нет веры в свое дело, так работать не станут. Недаром говорят: запруды готовя — поплачешь, землю поливая — порадуетесь.

Урман-джан поднялся, у него были дела в МТС. Когда он ушел, Курбан-ата, заметив, что Сыдык-джан задумался, спросил:

— Что, нанугал Урман-джан вас?

— А чего мне бояться! Я не из тех, что боятся работы!

— Поедете с ним?

— Поеду...

— Или душа не очень склонна?

— Нет... почему...

— Правду скажите, не понравилось?

Сыдык-джану не понравился не колхоз, который описывал Урман-джан, а он сам. „Грубый человек! — думал он. — Какое ему дело до моего яхтака и сапог? Какое ему дело, чем и из какой кормушки я кормился? И почему он меня „тыкает“. Если он сейчас „тыкает“, то когда в колхоз поступлю, он и вовсе ногой мне указывать будет...“

— Так вы правду скажите! — повторил Курбан-ата.

Сказать правду Сыдык-джан не решился.

Урман-джан появился долгое время спустя с двумя конями и, будто Сыдык-джан только и поджидал его, спросил:

— Ну, на какого сядешь?

Сыдык-джан от неожиданности до того растерялся, что и сам не заметил, как у него вырвалось:

— Мне все равно.

Урман-джан сунул ему в руки повод одного из коней, а сам вскочил на второго. Сыдык-джан взглянул на Курбан-ата. Тот подмигнул: „Не бойся, все будет хорошо!“

Попрощавшись со стариком, они тронулись в путь.

Сыдык-джан долгое время ехал в таком состоянии, словно был неожиданно разбужен и все еще никак не мог как следует проснуться. Когда он пришел, наконец, в себя, он почувствовал смутное беспокойство: куда, зачем и с кем он едет? Каковы будут последствия всего этого? Ему вспомнилось, как он когда-то, впервые выпорхнув из-под материнского крыла, так же покорно шел за мастером-аробщиком. Тогда он тоже не знал хорошенько — куда, зачем и с кем он идет. Но мастер хоть старался утешить его и дать ему в руки свечу надежды: „Ты сыном мне будешь, я куплю тебе лошадку маленькую. Ты сам будешь за ней ухаживать и сам ездить!“ А этот человек? „Ладно, пока поеду, а завтра повернусь и уйду“, — успокоил, наконец, себя Сыдык-джан.

Урман-джан ехал молча. Только в одном месте, ткнув ручкой камчи в сторону земляного вала, который тянулся неподалеку от дороги и затем исчезал в зарослях, он коротко обронил:

— Арык!

До этого, когда речь шла об арыке, который строили капсанчи, Сыдык-джан представлял себе арык, вмещающий количество воды, достаточное для одной мельницы, поэтому, увидав земляной вал, он воскликнул:

— Охо! Так это же большущий канал!

Они долгое время ехали по зарослям иргая, дикой джиды и боярышника. Неожиданно Урман-джан остановился.

— Мы приехали! — сказал он и, взглянув на удивленного Сыдык-джана, усмехнулся: — Приехали!

— Куда приехали?

— В кишлак. В колхоз.

— В кишлак? Это же совсем не похоже на кишлак!

— Да, не похоже. А мы сделаем его похожим. Деды-прадеды твой моста не смогли бы построить, а ты целиком кишлак построишь.

Сходя с коня, Сыдык-джан подумал: „Смеется он надо мной!“, — и украдкой взглянул на Урман-джана. Однако на лице председателя не было и признака улыбки. Сыдык-джан успокоился.

Привязав коней, они вышли на обширную прогалину. Посреди прогалины проходила дорога; по ту сторону дороги, под двумя огромными чинарами, виднелась кирпичная постройка, напоминавшая развалины заброшенной железнодорожной станции. Провалы в стенах были заделаны обломками жженого кирпича и колобками из глины. Односкатная, покатая в сторону дороги, крыша была покрыта обрывками толя, придавленными камнями и обломками кирпича. В очень высоком окне были целы только два стекла, остальные пролеты рамы были забиты дощечками или заклеены бумагой. Перед огромной дверью здания, похожей на ворота гаража, играл в „хлопушки“

из глины мальчик лет шести-семи; увидав Урман-джана, мальчик метнулся к нему и повис у него на шее. Урман-джан вынул из кармана штанов четыре огурца и передал их мальчику, коротко сказав:

— Иди, скажи матери!

Мальчик, — он видно уже знал, что надо было сказать матери, — со всех ног кинулся к двери.

Урман-джан повел гостя дальше. За первой оказалась вторая такая же постройка; передняя стена у нее была разрушена и она представляла из себя открытый с одной стороны навес. Под навесом стояла веревочная кровать, длинный стол, четыре стула; на стенах висели разные таблички, плакаты, портреты.

— Ну, садись, — проговорил Урман-джан. — Это мой дом. Он же и правление колхоза.

— А что здесь было раньше?

— Раньше была водокачка. Ее развалили басмачи.

— А, это водокачка князя? Курбан ата мне рассказывал. Бедняги капсанчи. Если бы земля была их, они и в те времена могли бы вывести себе арык.

Урман-джан усмехнулся.

— Дело не в земле, — возразил он. — Если бы дело было только в земле, то почему они не вывели арыка после земельной реформы? Такое большое дело может осилить только большое хозяйство. Колхоз может. Разве вязанка стеблей может быть осяю? Только карагач может быть!

К ним подошла полная миловидная женщина лет двадцати пяти. Она поздоровалась с Сыдык-джаном, потом вернулась и принесла блюдо с туловыми ягодами и хлеб. Урман-джан, принимая блюдо с тутом, спросил:

— Откуда это?

— Тилля-бобо<sup>1</sup> принес. Вы наказывали ему зайти к четырем часам, так он с утра уже третий раз приходит, все спрашивает, не настало ли четыре часа.

Улыбнувшись, Урман-джан пояснил Сыдык-джану:

— Это один старик, из псарей того самого князя. У князя было восемнадцать собак... Мы женили старика на такой же, как он, одинокой старухе. Она работает в колхозных яслях. А старика мы поставили сторожем у клевера. Старик со старухой часто ссорятся. И, как поссорятся, старик идет ко мне с жалобой...

Урман-джан не успел договорить, как у входа показался высокого роста старик с жиденькой белой бородкой, в коротком ватном халате и белой грязной тюбетейке.

— Да будет над вами мир!.. Ийе, у вас гость? Может, мне попозже зайти?

Старик, видно, был туг на ухо. Урман-джан знаками указал ему место за столом.

---

<sup>1</sup> Бобо — дед, дедушка, употребляется и как приставка к имени.

— Нет, сын мой, я лучше попозже зайду. Разговор такой, можно и потом...

Урман-джан, приставив ко рту ладонь, крикнул:

— Хорошо, разговор отложим. Садитесь чай пить!

Старик подошел к столу и осторожно присел на краешек стула.

— Когда можно будет зайти? Разговор у меня есть.

— Рассказывайте, этот йигит — свой человек.

— А? Когда? Часов в пять? — недослышал старик.

— Говорите сейчас!

Старик выпил чай, вытер рукавом пиалу и почему-то протянул ее Сыдык-джану.

— Разговор такой, надо бы потом. Или мне часов в шесть зайти? А может в семь?

Сыдык-джан, чтобы скрыть улыбку, принялся почесывать бровь, Урман-джан же оставался серьезным и слушал старика очень внимательно.

— Что еще случилось, атахан?<sup>1</sup> — спросил он.

— Нет! Сейчас я не скажу! Нет!.. Муку, говорят, корки изводят, жена — мужа. Грудь моя желчью переполнилась, дыхание спирает... Недобрая, очень недобрая она женщина! Сама же послала меня, — сходи, де, воды принеси. И вот, несу я воду из реки, а навстречу мне Улуг-буви<sup>2</sup>. „Дайте, отец, я вам воду снесу“, — говорит. Что тут скажешь? Не мог же я сказать ей: „Иди, мол, своей дорогой, мне подручных не надо!“ Принесла Улуг-буви воду до самой двери. Вот и всего дела. А она такой подняла скандал, такой скандал! В бороду вцепилась! Вот, смотрите... Сама на кровопролитие толкает! „Стукнуть ее по голове топором, и отделаться раз навсегда!“ — думаю себе и тут же сомневаюсь: как бы колхоз не опозорить. Чтоб не говорили потом, что в „Двух чинарах“ такое дело случилось. Пришлось уважить колхоз.

— Может, вы погадали Улуг-буви? — спросил Урман-джан.

Старик вскипел. Он несколько раз вскакивал и снова опускался на стул.

— Йие! И ты о том же? Если и ты так будешь говорить, я в реку кинусь!

Урман-джан поспешил разъяснить старику, что он хотел спросить, не в этом ли заключается подозрение старухи. Сыдык-джан наблюдал, с каким терпением Урман-джан успокаивал старика, и думал: „Какое сердце у этого человека! Как он старается не обидеть старика!“

— Дальше, сынок, нельзя, — заговорил старик, несколько успокоившись, — никак нельзя дальше терпеть! Если хочешь, жени на другой. А с этой потаскухой ты разведи меня!

— Кто потаскуха?

<sup>1</sup> Атахан — отец, папаша.

<sup>2</sup> Буви — бабушка, употребляется и как приставка к имени.

Повторить такое слово старик не решился. Не зная, что сказать, он некоторое время сидел в задумчивости, потом усмехнулся. Еле сдерживавший себя Сыдык-джан громко расхохотался. Не смеялся только Урман-джан.

— Я передам эти ваши слова тетке... Вы должны доказать! Старик, видно, изрядно боялся-старухи. Он заторопился оправдаться:

— Это так, с языка сорвалось, сынок, с языка...

— Все равно скажу. Вы должны доказать!

Старик, испуганно поблескивая глазами, смотрел то на председателя, то на Сыдык-джана.

— Как знаешь, сынок...

— Не говорить?

— Она беспорочная женщина, только по временам сердит меня своей ревностью. Мало-помалу она, конечно, исправится.

— Ну, хорошо. Если так, правду скажите, из за чего вы поссорились?

— Да из-за того же. Обменялся я парой слов с Улуг-буви. Улуг-буви ездила к своему внуку в город. Внук ее, оказывается, взял себе жену из татарок. Улуг-буви рассказала мне об этом и погоревала, что сноха ее, будто, с посторонними мужчинами брюхо к брюху пляшет, чашки-ложки с мылом моет. Я и говорю ей: „У снохи твоей для спроса есть муж, и тебе до всего этого дела нет. Ты с почетом приезжай и с почетом же уезжай“. Если я кроме этого хоть слово сказал... вот, передо мной хлеб! А старуха начала поносить меня, колдуном-ворожеем обозвала. Все я, сынок, терпел, а этого слова никак не мог стерпеть. Правда, я и за собаками присматривал, было время, и на чужое завидовал, и ворожеем был. Не скажу, что не был. Только она, когда выходила за меня, знала, что я был ворожеем, — знала! Чего ж она теперь попрекает?

На глазах старика заблестели слезы. Урман-джан принялся успокаивать его.

— Не огорчайтесь, — сказал он. — Тетушка, видно, нечаянно вас обидела. У ней тоже, видно, с языка сорвалось в гнев... Ну и вы тоже... поменьше с женщинами разговаривайте. А то они около вас часто увиваются. Тетушка и обижается... А может и ревнует тоже...

Старику, видно, эти слова пришили по нраву. Он выпрямил стан, провел по усам с таким видом, будто хотел сказать: „Что ж, ревнует, может и не зря!“ — и поднялся. Урман-джан проводил его до самой двери. Вернувшись, он сказал:

— Теперь, Сыдык-джан, ты отдыхай. Вот кровать, ложись, отдыхай. У меня много дела, много мест, куда надо наведаться. А ты на сегодня гость...

Сыдык-джан вскочил.

— Пойдем вместе, — сказал он.

— Куда?

— Пройдусь, посмотрю.

— В нашем кишлаке любоваться пока не на что. Ложись, отдыхай. Пользы от твоего хождения никакой. Только мне мешать будешь.

Урман-джан говорил серьезно и вполне искренно. Сыдык-джан удивлялся: „Почему он оставляет меня одного с молодой красивой женой? Что это — доверие? Или он меня за человека не считает?“

Урман-джан вышел. Сыдык-джан от нечего делать растянулся на кровати. Из головы у него не выходила все та же загадка: „Где и когда это было видано, чтобы человек оставил жену один на один с посторонним? Почему он так поступил? Что он, не хочет считаться со мной? Но ведь только сейчас этот человек потратил добрых полчаса на то, чтобы успокоить какого-то болтливого старика! Нет, дело, видно, не в этом... А может он из тех мужей, что на шаши своих жен сквозь пальцы смотрят?“

Сердце Сыдык-джана вдруг сильно забилося: он услышал чьи-то легкие шаги. Сыдык-джан тотчас закрыл глаза и притворился спящим. Он решил, что если последнее его предположение правильно, женщина обязательно что-нибудь нарочно уронит, и, как только он, встрепенувшись, откроет глаза, улыбнется ему.

Тот, кто вошел, легонько, мелкими шажками просеменил к столу. Через несколько минут, каждая из которых казалась ему целой вечностью, Сыдык-джан тихонько приоткрыл веки: у стола, потряхивая бороною, стояла маленькая тощая коза. В это время вошла жена председателя. Она схватила козу за рога и потащила к выходу. Коза заупрячилась. Женщина ударила ее кулаком по голове, подхватила на руки и, осторожно ступая на носках, вышла.

Полежав некоторое время, Сыдык-джан поднялся и вышел из-под навеса. Жена председателя сидела неподалеку на корточках и рубила дрова. Увидав Сыдык-джана, она удивилась:

— Ийе! Что так скоро?

— Когда вернется братец Урман-джан? — не отвечая, спросил в свою очередь Сыдык-джан.

— Эха! Этот человек такой: если дело окажется, он, забыв о нас, и к самой плотине уйдет. Что, скучно стало?

Сыдык-джан подошел к женщине и попросил уступить ему тешу<sup>1</sup>. Женщина встала, отдала тешу и тут же принялась закручивать вокруг головы развязавшиеся косы.

— Наши места такие, — заговорила она, — человеку здесь скучно становится. Лес, камыши, река... Зато много топлива. Вон кругом какие заросли!

Сыдык-джану показалось, что жена председателя заговорила нарочно, с целью привлечь к себе его внимание. В ее словах почувствовался ему даже какой-то тайный смысл. Он поднял глаза. Женщина и в самом деле очень ласково улыбалась ему.

<sup>1</sup> Теша — маленький топорик местного образца, напоминающий по форме небольшую кирку.

— И никто не запрещает?

Сыдык-джан спросил об этом не потому, что его интересовали заросли, а просто, чтобы иметь предлог открыто взглянуть в глаза хозяйке.

— Все равно их будут корчевать. Здесь пашни будут, — ответила жена председателя и, повернувшись, прошла в дом.

В глазах женщины Сыдык-джан не заметил того выражения, какого ожидал, но все же он никак не мог отделаться от навязчивой мысли, что она с ним хитрит.

Покончив с дровами, Сыдык-джан подошел к двери дома.

— Куда дрова сложить? — спросил он, останавливаясь на пороге.

Женщина подметала в комнате. Выпрямившись, она ласково взглянула на Сыдык-джана.

— Сейчас я сама возьму. Я и так заставила вас потрудиться.

— Посмотрите, может помельче надо?..

— Покололи, и хорошо.

— Посмотрите все же.

У Сыдык-джана промелькнула мысль: стоя на пороге, он загородит дорогу и, если женщина станет ломаться и будет проходить с ужимками, ушибнет ее за бедро или за бок. Однако жена председателя подходила так спокойно и с таким невинным выражением во взгляде, что Сыдык-джан смутился и уступил ей дорогу. Оступившись при этом, он невольно вскинул руку и, как ему показалось, задел локоть женщины. Это было очень легкое прикосновение, и Сыдык-джан сам не заметил: коснулся ли он только рукава или же в самом деле задел локоть. „Что она подумает! А вдруг скажет мужу!“ — промелькнуло у него в голове.

— Хорошо, жарче гореть будут, — сказала жена председателя, издали взглянув на дрова. Потом повернулась и все так же спокойно прошла в дом.

„Кажется, она ничего не заметила“, — подумал с облегчением Сыдык-джан и, возвратившись под навес, снова растянулся на кровати. „Чудно! Откуда в голову мне могли притти такие мысли! — досадовал он на себя. — Женщина не дала мне никакого повода, не подмигнула, не ломалась передо мной... Да хотя бы и прищурила глаз, как мог я решиться на такое дело? Ел хлеб у человека и на его же скатерть ноги протянул! Что плохого сделал мне этот человек? Неужели он привез меня сюда ради того, чтобы я заигрывал с его женой?“

Чем больше Сыдык-джан размышлял о своем поведении, тем тяжелее становилось у него на душе. „Заметила она все-таки или нет? — с тревогой думал он. — Конечно. Как могла она не заметить, если я загородил ей дорогу! Конечно, заметила, и поняла, что я это нарочно сделал. В самом деле, что будет, если она скажет мужу?“



Сыдык-джан так был озабочен этим, что совсем забыл о своем намерении завтра потихоньку уйти отсюда.

Жена председателя принесла лампу. Сыдык-джан только теперь заметил, что уже стемнело. Он поднялся с кровати.

— Что, братец Урман-джан не вернулся?

Женщина поставила лампу на стул и, покрывая стол скатертью, усмехнулась:

— Извел он вас. Он такой!..

Усмешку женщины и ее слова можно было истолковать по-разному, поэтому Сыдык-джан ничего не сказал и вышел наружу помыть руки. Когда он вернулся, на столе уже стояли три чашки, наполненные какой-то похлебкой. За столом сидел сынишка Урман-джана. Немного погодя вернулась и жена председателя. Она под села к столу и пригласила Сыдык-джана. „Если б она что-нибудь заметила, она сердито, со стуком поставила бы передо мной чашку, а сама не осталась бы“, — обрадованно подумал Сыдык-джан.

После ужина жена председателя, убирая со стола посуду, как и днем, ласково улыбнулась Сыдык-джану и сказала:

— Теперь, братец, простите. Мне тоже надо отлучиться. Мы кормим червей. Пока луна светит, надо нарезать им листьев. Если придет братец ваш Урман-джан, ужин на очаге. А сынишка сейчас ляжет спать.

— Ничего, ничего, не беспокойтесь, — проговорил Сыдык-джан. — Мы с ним... Да, а как звать тебя?

— Хаит-бай, — ответил мальчик.

— Мы с Хаит-баем сейчас будем ложиться.

Женщина постлала постель сыну и, еще раз извинившись перед Сыдык-джаном, вышла.

Немного поиграв, Хаит-бай уснул. Сыдык-джан убавил фитиль в лампе и, не раздеваясь, растянулся на веревочной кровати.

Перевел с узбекского Н. Ивашев.

Продолжение следует

ГАФУР ГУЛЯМ

## ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ

В Доме правительства, в сейфе из мраморной стали  
Будущей зрелости вашей печати лежат.  
Звонкие, плотные, свежей чеканки медали —  
Клад золотой до поры безымянных наград.

Юноши, девушки! Дома ль я встречу, иль в классе  
Взор ваших умных, внимательных ваших очей —  
Знаю заране, чью грудь благодатно украсит  
Яркая будущность в алом сиянии лучей.

Нет, в этой фразе, пожалуй, немного неправ я.  
Будущий путь ваш у всех лучезарно пригож.  
Этому миру, которому не было равных,  
Кто же хозяева, если не вы — молодежь!

Нет вам цены, поколенью, впитавшему с детства  
Тягу к познанию, к труду для народа — любовь.  
Выпекли вас из добротного славного теста,  
Верность вождю и Отчизне и в плоть вам впиталась и в кровь.

К девушке — юноша, к верности верность стремится.  
Сну не прикажешь: „Уйди“. Не по знаку приходит любовь.  
Тонкой сурьюю познания подкрасив ресницы,  
Гляньте сквозь них, — как светла, как безоблачна новь.

Гляньте вокруг. Перед вами широкие дали.  
Стают снега, возвратятся в сады соловьи.  
Точно орлы, что окрепших птенцов поджидали,  
Ряд институтов вас примет в объятия свои.

Дел не измерить. Один разгадает шарады  
Горных пород, окружающих свод голубой,

Мертвые степи ликующим сделавши садом,  
Миру придаст лучезарность и свежесть другой.

Третьим из вас будет жизни предел атакован,  
Так, чтобы жить нам да жить, и о смерти не знать.  
Так, чтоб, дожив до две тысячи сорок шестого,  
Здравицу Сталину мог я ликуя сказать.

Вникнет четвертый в тайник стихотворного строя,  
Слово его заблестает, как пламенный лал.  
Пусть же и я тогда буду вспомнят порою,  
Вот хоть за это, а может за все, что я дал.

Юноши, девушки! Чистая преданность ваша,  
Бодрость, старательность радуют душу и взгляд.  
Молодость ваша еще и еще будет краше,  
Если медали над сердцем у вас заблестят.

Перевел с узбекского Вл. Липко

М. ШЕЙХЗАДЭ

## МОЙ ГОЛОС

Песчаные смерчи  
Бесправья сжигали мой голос,  
Дышать не давали,  
Настигнув, украли мой голос.  
И я, обездолен,  
Скитался по мертвым пустыням:  
Под яростным солнцем,  
Под небом безжалостно синим.  
Я шел через горы,  
Излучины рек проплывал я,  
Искал я свой голос,  
Украденный голос искал я.  
В пустынях барханных  
Немым диваной<sup>1</sup> я стоял,  
Средь троп караванных  
Потерянный голос искал.  
Но прочь караваны,  
Звения бубенцами, прошли,  
Века, как барханы,  
Качаясь песками, прошли.  
И только Россия  
Увидела муки мои,  
Страданья немые,  
Простертые руки мои.  
И Ленин великий  
Мне голос живой подарил,  
И Сталин великий  
Мне голос живой подарил.  
И голосом полным  
Я славою отчизну мою,  
И Сталину славу,

---

<sup>1</sup> Дивана — юродивый.

Великому — славу пою.  
«Сограждане, други,  
Наш голос, поющий сейчас,  
К далеким столетьям,  
К потомкам дойдет как приказ.  
Воздвигнута нами  
Высокая крепость побед.  
Ее озаряет  
Рубинов бессмертия свет.  
Мы крепости этой  
«Строители и сторожа.  
Ее охраняем,  
Союзом своим дорожа.  
О счастья нашем  
«Свободная песня поет,  
И дальнее эхо  
Над всею землею встает!

Перевела с узбекского С. Сомова

СОДЫК КАЛАНДАР

## МЫ НА УРАЛЕ

Повесть

Продолжение <sup>1</sup>

### IV

Начальник строительства, пожилой энергичный человек с глубокой, никогда не исчезающей поперечной складкой между бровями, сидел в кабинете и рассматривал старый, давнишний чертеж, только что извлеченный им из большого красного сейфа. Время от времени он делал на чертеже какие-то пометки толстым цветным карандашом.

В кабинете больше никого не было. Мягкий свет настольной лампы под зеленым абажуром да монотонный шум дождя за окном, не прекращавшегося уже вторые сутки, создавали в комнате уютную рабочую тишину.

И вдруг зазвонил телефон. Начальник строительства поднял трубку.

— Я слушаю. Да. Вот сейчас как раз изучаю чертеж этого цеха. Сочувствую, сочувствую вам. Да ведь не только я вам, и вы мне должны посочувствовать. Строить-то мне же придется? Ну, так вот. Понимаю... да... Понимаю... Но ведь у меня тоже нет лишних людей. Конечно. Все работают по две смены. Да. Ну, что же поделаешь, помогу, конечно. Есть у меня одна фронтовая бригада... Мустафы Ризаева... Сделаем. Хорошо. До свидания.

Он положил трубку на рычажок, секунду посидел, не отнимая руки, и снова приложил трубку к уху.

— Соедините, пожалуйста, с начальником пятого участка. Что? Кто разговаривает? Разъедините... Это кто? Евгений Михайлович? Евгений Михайлович, вы мне очень нужны. Срочно.

<sup>1</sup> См. „Звезда Востока“, №№ 10—11 и 12—1946 г. и № 1—1947 г.

Да. И еще пригласите Мустафу Ризаева... Да, бригадира. Одно-го. Есть неотложное дело. Жду.

Так же спокойно, как и в первый раз, он положил трубку на телефон, закурил папиросу и с прежним вниманием принялся изучать чертеж.

Минут через десять в дверь постучали.

— Да, да. Войдите!—сказал начальник строительства и отодвинул чертеж в сторону.

В кабинет вошли старший прораб Евгений Михайлович Су-ровцев и бригадир молодежно-фронтowej бригады Мустафа Ри-заев, рослый широкоплечий парень в мокром брезентовом плаще с башлыком и в резиновых сапогах.

— Дождь все идет?—приветливо спросил начальник стро-ительства, видимо только для того, чтобы заговорить, в то же время здороваясь и усаживая их.

— Идет мошенник,—весело отозвался Ризаев.

Он откинул с головы башлык, поглядел на свои резиновые сапоги, с которых стекала на пол грязная вода, неловко пере-ступил с ноги на ногу и шумно вздохнул. Потом осторожно взял из коробки предложенную ему папиросу, закурил, сел на стул и начал выжидательно глядеть на начальника строительства.

Тот раза два молча прошелся по кабинету.

— Вот что, дорогие мои друзья,—заговорил он, останавливаясь у окна и озабоченно глядя на них в упор.—Директор завода просил нас немедленно начать расчистку сгоревшего цеха. Будем его восстанавливать, и очень скоро. Но прежде надо все привести в порядок. Надо очистить цех. Работы там много, а людей для этого у нас нет. Что предлагаете?.. Что можно при-думать?.. Как выполнить эту работу?..

Он с минуту глядел на них молча.

— Если поручить это дело бригаде монтажников, землеко-пов и вашей бригаде, товарищ Ризаев, чтобы каждая из них работала поочередно, хотя бы часа по два—по три после смены, то ликвидировать последствия пожара можно быстро. Но ведь каждая бригада взяла обязательство работать по шестнадцать часов в сутки?! Так ведь, товарищ Ризаев? Вы работаете по две смены?

— Да, по две смены,—сказал Ризаев и начал вдруг нетер-пеливо потирать свои большие красные руки.

— Мне трудно за них говорить, Александр Аркадьевич,—посмотрев на начальника строительства и, видимо поняв, что тот ждет его мнения, сказал прораб.—Выдержать шестнадцать часов в сутки на такой тяжелой работе это... Я не знаю... Пусть они сами говорят, Александр Аркадьевич...

— Вот что,—перебивая его, решительно сказал Ризаев и хлопнул себя по коленке ладонью.—Я беру на себя обязатель-ство выполнить эту работу со своей бригадой. Я отвечаю за своих ребят. Не надо монтажников. Не надо землекопов. Одни сделаем.

Он, видимо, волновался и, чуть-чуть коверкая слова, выговаривал их с татарским произношением.

— Через час кончаем вторую смену на строительном участке и переходим сюда. В цех!—сказал он твердо и встал со стула.

— То-есть, как?—недоумеая, спросил прораб.— Вы хотите работать три смены? Круглые сутки?!

— Да. Сегодня будем работать три смены. Круглые сутки. А потом... Завтра будет видно.

Начальник строительства с восхищением глядел на Ризаева.

— Ну, хорошо, товарищ Ризаев. Сегодня вы три смены, завтра монтажники три смены, послезавтра землекопы три смены. Идет так?..

— Зачем?—изумился Ризаев.— Не надо монтажников. Не надо землекопов. Одни сделаем. Я своих ребят знаю.

— В одну смену сделаете?

— В одну смену сделаем,—подтвердил Ризаев.

— Не верю, товарищ Ризаев,—откровенно признался начальник строительства.—Однако... благословляю. Дождь только вот мешать будет.

— Ничего, ничего, Александр Аркадьевич. Мои ребята не испугаются. Они не сахар и не бумага,—сказал Мустафа и накинул башлык на голову.

— Ну, хорошо, Мустафа.—Начальник строительства положил одну руку ему на плечо, а другой крепко стиснул его ладонь.—Выручай. Время теперь фронтное... Выручай. Часа через два я зайду к вам, туда... погляжу...

Он опять угостил их папиросами и дружески проводил до дверей.

\* \* \*

Дождь все лил и лил—неистовый, холодный, злой, со свистом и крутящимся ветром.

И люди, сбросив с себя тяжелые намокшие плащи, точно вступили с ним в единоборство, решив доказать ему, что они не отступят, не уйдут, не бросят работы, сколько бы он не лил и не злился. В стеганых ватных тужурках, от которых поднимался пар, люди работали молча, с таким напряжением, точно важней и ответственней этого дела ничего больше на свете не было. Одни выносили из сторевшего столярного цеха обугленные мокрые бревна и складывали их подальше, метров за сто, у забора, сколоченного из горбылей, у которого днем и ночью ходили безмолвные часовые; другие выгребали лопатами горы потухших и, казалось, еще теплых углей, мусора, щебня и каких-то полуистлевших тряпок, нивесть откуда взявшихся здесь после пожара. Весь этот хлам грузили на большие пылящие грузовики, и те увозили его куда-то на окраину, километра за три от завода. Поодаль складывали разобранное с крыши кровельное железо, вывинчивали из цементного пола,



где стояли раньше столярные верстаки, болты, сдирали со стен какие-то вешалки, крючья, рубильники, решетки, грузили на вагонетки круглые обгоревшие пилы, рубанки, фуганки, которые все же не успели спасти при пожаре, и увозили под большой сарай к штабелям распиленных дубовых брусков.

Примерно часа через полтора после начала работы пришел начальник строительства Александр Аркадьевич Палехов, молча постоял немного, потом спросил бригадира, очень негромко и озабоченно:

— Курили?

— Нет еще, не курили, товарищ начальник, — взглянув на него мокрым улыбающимся лицом, весело ответил Ризаев.

— Ну, так покурите. Нельзя же так. Надо с передышкой.

— Ничего, без передышки, товарищ начальник. Работа авральная.

— Ну что же — авральная, а покурить нужно.

Ризаев бросил на пол вывинченный болт, снял рукавицы и опять улыбнулся.

— Нечего, товарищ начальник...

— Что нечего?

Ризаев помедлил секунду, глядя на него, потом сказал, не переставая улыбаться:

— Курить нечего.

— Как же так? Почему нечего?

— Нету. Нечего, — слегка изменившимся и грустным голосом повторил Ризаев. — Махорку, которую получили в ларьке, искурили, а теперь постимся. Я вот покурил у вас в кабинете, а ребята с обеда не курили.

Начальник строительства молча и поспешно вынул из кармана коробку папирос, подал Ризаеву.

— У меня больше нет, — сказал он виновато. — Пока покурите, а утром я, может быть, махорки вам раздобуду.

— О-о, вот уже за это спасибо, Александр Аркадьевич. Папиросы, правда, еще ни то, ни се, а уж за махорку спасибо вам скажем.

— Разыщу, ребята. Обязательно разыщу, саратовской, — с воодушевлением добавил начальник строительства, видя, как несколько человек остановились около них и начали прислушиваться к разговору.

— Только вы не прислушивайтесь, — сказал Мустафа, оборачиваясь к ребятам и пряча коробку в карман. — Курить будем минут через десять, когда гудок загудит.

Он попросил еще начальника строительства, чтобы сменили лампы на столбах, поставили сильнее, и когда Палехов ушел, опять надел рукавицы и взялся за работу.

А дождь все лил и лил, не унимаясь ни на минуту, и ветер то затихал, то снова кидался на людей из-за стен с тяжелым и шумным вздохом.

Они работали, не обращая ни малейшего внимания на непо-

году. Звенели лопаты, катились грохочущие вагонетки, пытели автомобили, изредка слышались людские голоса.

Прогудел гудок. Рабочие, которые шли мимо них, останавливались, долго с восхищением глядели, будто на какую-то диковинную красоту, и вполголоса переговаривались:

— Красиво работают. Ни гама, ни суеты, как у нас в механическом цехе, каждый на своем месте. Даже позавидовать можно.

— Поэтому она и зовется—фронтальная бригада. Незаслуженно ей не присвоили бы такое почетное звание.

— Да-а, орлы. Одно слово—орлы.

— Эх, бригадир-то какой молодец! Широкоплечий да статный. Истинный гвардеец.

— Это кто, Мустафа-то? Ор-рел.

— Да они все ничего ребятки-то, как на подбор. Гляди, вот какой богатырь бревно несет. Один несет.

— Это у них палван, узбек из Ферганы. Силач по нашему.

Шодмон-палван, один тащивший тяжелое обугленное бревно, поняв, что разговор идет о нем, оглянулся на рабочих, весело подмигнул им и, удобнее перехватив рукою бревно, пошел дальше.

— А что, ребята, может быть, поможем им?.. Останемся, а?..—робко спросил самый молодой из рабочих, в красивой коричневой кепке.—Дело-то ведь для всех одинаково... Поможем, а, ребята?—уже смелее и веселее добавил он.

— А что же, и на самом деле. Помочь—это не дурное дело,—отозвался другой, чуть постарше.

— Останемся,—уже совсем решительно и смело заявил первый и, слегка поправив на голове кепку, направился к бригадир.

— Идем, Коля!—добавил он, оборачиваясь к своему приятелю.

Они вместе подошли к Ризаеву, а остальные рабочие, еще с минуту постояв, молча направились к воротам.

— Товарищ бригадир,—негромко сказал паренек, обращаясь к Ризаеву.—Мы вот с другом... Ну, как бы тебе сказать...

— Да просто хотим поработать,—сердито и решительно заявил второй и добавил с мягким упреком в голосе, оглянувшись на товарища:—Чего тут мямлить-то? Свататься, что ли, пришли?!

Ризаев мельком взглянул на них и сказал, не отрываясь от работы:

— Подождите немного. Сейчас курить станем, тогда поговорим. Вы откуда?

— С механического.

Ризаев опять посмотрел на них, не разгибаясь, но вдруг сам он и оба паренька быстро оглянулись в сторону. Поодаль от них, на асфальтированной дорожке, остановилось несколько девушек-узбечек, о чем-то тихо разговаривая между собой и прыскающая от смеха.

— Чего смеетесь, девушки?—громко и весело спросил их Ри-

заев на узбекском языке, все еще не прекращая работы. — Помогать идете?..

Девушки неожиданно все замолкли, потом одна из них, самая низенькая и хрупкая на вид, тихо спросила своих подруг:

— А правда, останемся, девушки, а?

Оба паренька молча, с интересом, глядели на них издали, не понимая, о чем они разговаривают.

— Туфахон уж, конечно, останется. Правда, ведь, останетесь?..

— Я не знаю... Вчера так промокла, озябла. Хозяйка меня все утро ругала, боялась, что я заболею. А сегодня... если останусь... опять под дождем...

Она смущенно замолчала и вдруг, увидев Шодмон-палвана, катившего пустую вагонетку, порывисто крикнула:

— Шодмон-палван-ака! Салом! Не уставайте!

— О-о, дорогие девушки, здравствуйте!—счастливым басом закричал он им всем сразу и через минуту скрылся за обгоревшими стенами здания.

— Ну, девушки?.. Что же молчите?—опять настойчиво сказала маленькая.

— Сушиться где будем?—тоном упрека и возражения спросила самая старшая из них, Зайнаб, которой, видимо, все слушались и теперь, по установившейся еще в ФЗО привычке.—Сушиться-то ведь негде будет, да и некогда,—повторила она строго.

С минуту никто не решился ей возразить, но потом опять та же смуглая маленькая девушка сказала тоном младшей сестры, которой очень хочется уговорить старшую:

— В цехе в комбинезонах же будем работать, а фуфайки на радиатор сушить повесим.

— А ведь и правда, девушки!—оживленно воскликнула Туфахон.

— Оставайтесь, что вы так долго рядитесь,—сказал один из пареньков, видимо, поняв, наконец, о чем они говорят.

— Шабаш, ребята! Ко мне!—звучным голосом закричал Мустафа, широко растягивая слова своим особенным произношением.

Он вынул из кармана коробку папирос, и в одно мгновение возле него столпилось человек десять мужчин—веселых, разговорчивых и мокрых до последней нитки. Они снимали рукавицы, вытирали руки о внутреннюю сторону полы фуфайки и осторожно, двумя пальцами, брали из коробки по одной папиросе. Только двое или трое некурящих с минуту постояли в стороне, равнодушно посмеиваясь над товарищами, и подошли к девушкам.

— А вы знаете, сестра, Умарджон-то ведь не на шутку, рассказывают, заболел,—сказал Шодмон-палван, обращаясь к Туфахон, когда все они, человек двадцать пять,—те, что успели уже покурить, и сам Мустафа, и девушки,—все уселись отдох-

нуть под сараем, возле бесконечных штабелей распиленных свежих брусков.

— Как заболел? Когда?—спросила она, и даже всегда спокойный и равнодушный Шодмон-палван заметил, как побелело ее лицо и какими большими и выразительными глазами взглянула она на него.

— Да ведь вчера еще, на пожаре, он упал прямо с ломом в руках, когда мы грузили на вагонетку тяжелый верстак. Вы разве не видели сами...

— Нет, я не видела. Я, кажется, в это время как раз домой пошла,—сказала она, мысленно припоминая, какой возбужденный и странный вид был у Умарджона, когда он молча, с ломом в руках, пробежал мимо нее.

— Так вот, он еще до пожара, как говорит доктор, был уже болен. Когда он упал, мы продолжали двигать верстак. Думали, что поднимется. Ну, бывает же, человек оступится, или споткнется. А тут в горячке никто и не обратил даже на это внимания. Мужчина же, думаем, сам встанет. Кто-то даже еще посмеялся над ним,—спокойно рассказывал Шодмон-палван, с удивлением замечая, как изменилось в несколько минут лицо Туфахон.—А когда подошли к нему, он не встает. Мягкий... Как тесто мягкий. Ну, здесь уже немного испугались. Может быть, думаем, верстаком придавили как-нибудь случайно?.. Да нет, не заметно этого. Послали за доктором. Доктор пришел, осмотрел и велел к себе в кабинет его отнести. В кабинете смирili Умарджону температуру, а у него жар, сорок с лишним градусов. От него, как от печки, пышет. Ну, мы постояли, постояли, да ушли. А потом его в госпиталь, говорят, отвезли.

Шодмон-палван замолчал и опять с интересом и сожалением пристально посмотрел на Туфахон.

— А вы что же так переживаете, сестра,—сказал он с сочувствием.—Не надо так беспокоиться. Ничего с ним не делается. Мужчина же он.

— Так его увезли, говорите? В госпиталь?—спросила она таким тоном, словно совсем не слышала последних слов Шодмон-палвана.

— Да. Ночью же его и увезли.

— А вы днем не были у него в госпитале?

— Нет, не был. Да ведь некогда. Когда же ходить, сестра! Сами знаете, как работаем. Каждая минута на учете.

— Поднимайся! За работу, друзья!—словно нарочно выждав именно такое мгновение, весело закричал Мустафа, первым поднявшись на ноги и широко шагая через брусков.

За ним тесной гурьбой двинулись остальные. Мустафа заново разбил людей на несколько групп по участкам, в каждой группе назначил старшего, прикрепил к одной из них двух пареньков из механического цеха, дал каждой девушке в руки лопату, сказал, что надо делать, и работа, снова закипела еще с большей силой. Мустафа не только за другими, а

даже сам за собой заметил, что он стал работать еще веселее, когда появились девушки, хотя они были от него шагах в десяти, и он только изредка успевал переброситься с ними какой-нибудь шутливой фразой. С величайшей теплотой, спрятанной от всех очень глубоко, Мустафа замечал, как самая старшая из девушек, красивая, рослая Зайнаб часто следила за ним укладкой от своих подруг.

Все были веселы и оживлены. Работа спорилась. И казалось, никто не замечал дождя и пронизывающего ветра, который то утихал, то опять с остервенением разгуливал по двору.

Туфакон работала молча, лишь изредка отвечая на вопрос, и маленькая Мархамат-ой, не слышавшая рассказа Шодмон-палвана, сказала подругам, что Туфакон, должно быть, на что-то обиделась.

Утром, когда стало светать и на заводе уже прогудел первый гудок, пришел опять начальник строительства и с изумлением увидел, что работа закончена. Люди сидели под навесом и, казалось, специально ждали только его.

— Что это такое? Что я вижу? Товарищи... Нет! Раньше я не представлял себе, что такое возможно, не представлял, — сказал он в волнении и даже слегка побледнел от восторга. Он стоял и в изумлении смотрел на людей, которые чуть-чуть улыбались устало, глядя на него.

— Где это видано? — повторил он в задумчивости и, словно внезапно спохватившись, добавил:

— Мустафа! Идите сюда.

Бригадир встал и подошел к нему.

— Махорку вот возьмите! — шопотом сказал ему Александр Аркадьевич, — а людей сейчас же ведите в столовую. Поняли?

— Понял.

— Идемте.

Мустафа велел всем подняться и идти за ним. Когда они вошли все в столовую, Палехов вызвал из кухни заведующего и что-то тихо сказал ему.

— Сколько всех людей? — оборачиваясь, спросил он бригадира.

— Двадцать шесть человек будет с девушками, — сказал Мустафа и вдруг начал беспокойно оглядываться.

— Пойдите... Александр Аркадьевич, подождите.

— В чем дело!

— Они, кажется, ушли... Нет их, — растерянно сказал Мустафа.

— Домой пошли, переодеться. Они еще во дворе отстали, — сказал паренек из механического цеха.

— Ну, тогда, стало быть, двадцать два, — грустно произнес Мустафа и сел за стол.

Минут через пять пожилая полная женщина в белоснежном халате поднесла каждому в граненом стакане по сто граммов водки, расставила в мисках душистые мясные щи с соленой

капустой и жареную картошку. Когда водку выпили, кто с удовольствием при этом крикнув, а кто зябко вздрогнув плечами. Палехов сказал:

— Сейчас позавтракайте, потом в баню, и спать. Надо согреться.

— В баню можно, согреться тоже надо, а вот уж спать — это после работы, Александр Аркадьевич.

— Я говорю серьезно, Мустафа.

— Мы тоже не шутим, Александр Аркадьевич.

— Спать. Понятно? Я приказываю.

— Понятно.

## V

Туфахон шла домой. Никогда еще она не испытывала такого ясно осознанного чувства вины за свои поступки, как сейчас, в это пасмурное дождливое утро. Даже дома, бывало, перед матерью она не чувствовала себя такой виноватой, как теперь перед Серафимой Ильиничной. Она ясно представляла себе, как та ждала ее, беспокоилась, часто, должно быть, вставала с постели, глядела на часы и все укутывала шалью кастрюльку с ужином, чтобы он не остыл, потом опять ложилась и всю ночь не гасила огня.

Туфахон не успела еще взойти на крыльцо и постучать в дверь, как Серафима Ильинична вышла из парадного ей навстречу и, обнимая, целуя, расспрашивая и ругая, на ходу стала расстегивать и снимать с нее фуфайку.

— Ведь ты если себя не жалеешь, так меня бы хоть пожалела. Изведешь меня эдак-то, — сказала она с материнской лаской и укоризною в голосе, когда они сели завтракать.

— Простите, Серафима Ильинична, — говорила Туфахон, виновато улыбаясь, и каждый раз вставала и целовала ее в лоб и возле глаза в висок. — Уж очень они стройно и хорошо работали. Захотелось остаться с ними. А тут еще девушки, мои землячки из Узбекистана, тоже остались. Они-то как раз и уговорили меня.

— Да уж ладно теперь оправдываться-то, — смеясь, отвечала Серафима Ильинична. — Ешь вот, пока не остыл завтрак. Согрейся хорошенько. Как сейчас на работу пойдешь? Мыслимо разве сорок часов подряд отработать?! Без сна?!

— Ничего, отработаю, Серафима Ильинична. Только как бы вот к Умарджону вырваться в госпиталь?

Было уже без четверти девять. Они быстро оделись и ушли на завод.

Целый день Туфахон работала с мыслью отпроситься у Ивана Павловича и сходить навестить Умарджона. „Если он согласится поработать за моим станком, так уж старший мастер разрешит“, — думала она.

Но старик почему-то был сегодня особенно неразговорчив и несколько раз хмуро посмотрел на Туфахон поверх очков. Он,

разумеется, не знал, что она совсем не отдыхала и работала в третьей смене с бригадой Ризаева под дождем. Минут за десять до обеденного перерыва, когда он стоял рядом с ней у станка, и Туфахон, волнуясь, вот-вот уже хотела попросить у него разрешения отлучиться на полчаса, он вдруг неожиданно спросил, сердито глядя на нее поверх очков:

— Ты что, хвораешь?

— Нет,—с трепетом сказала она.

— А что же вид у тебя такой хворый?.. Лицо серое, осунулось. Глаза—видно, что нездоровые, воспалены, горят. Сейчас хворать нельзя. Время не позволяет,—добавил он чуть-чуть мягче и улыбнулся.

Она так и не решилась обратиться к нему с просьбой. А на следующий день, когда она только что вошла в цех и поздоровалась с Иваном Павловичем, он, вытирая полотенцем руки, спокойно сказал:

— Что же ты, девушка, такая ленивая?

— Что, Иван Павлович?

— Да как же, что! Ленивая. Саидова еще позавчера в госпиталь отвезли, а ты и время не выберешь к нему сходить. Он, помнишь, как о тебе заботился?

— Помню, Иван Павлович. Сегодня можно?

— Можно. Сходи. Вот обед начнется, и сходи в перерыв. А если опоздаешь на полчаса, так я постою за станком. Не беда.

Он повесил полотенце на гвоздик и добавил серьезно:

— Сегодня одна сходи, а завтра, может быть, вместе сходим. Навестить надо. Все человеку отраднее на душе станет. Пусть скорей выздоравливает.

До самого обеда она работала грустная, сосредоточенная, молчаливая. Лишь когда где-то близко, за корпусами, сначала зашипел, а потом низким густым басом загудел гудок, она встрепенулась, оживилась, еще раз спросила у Ивана Павловича разрешения итти и выпорхнула из цеха, набегу надевая на себя новенькую красивую фуфайку с меховыми оторочками вокруг шеи и по бортам. Ей не надо было терять время на то, чтобы узнать, где находится госпиталь и в какой палате лежит Умарджон. Она спросила об этом еще вчера, на медпункте, и сейчас выбежала прямо на улицу.

Миновав несколько кварталов, Туфахон вспомнила, что она бежит с пустыми руками, и решительно свернула за угол, где находился маленький кочующий базарчик, которых было так много в дни войны и которые существовали всего лишь до появления первого милиционера, а потом перекочевывали куда-нибудь за другой угол. Но она ничего не нашла на этом базарчике, где толкалось человек двенадцать грязных бранчливых спекулянтков с какими-то мокрыми леденцами, студнем и рассыпными папиросами, и пожалела, что не зашла в свой закрытый распределитель. Там можно было взять хотя бы банку вишневого варенья или коробку сливочного печенья.

Чем ближе она подходила к госпиталю, тем все больше чувствовала, как глухо и часто колотится в груди сердце, и не могла понять, почему она волнуется. Когда за поворотом показалось серое двухэтажное здание с тихими белыми занавесками на окнах, она почему-то замедлила шаги и почти на цыпочках подошла к парадному. В вестибюле женщина-швейцар долго не хотела пускать ее в палату, но наконец смягчилась, дала коротенький белый халатик, который Туфахон накинула себе на плечи, и сказала ворчливым голосом:

— Только сейчас с одной спорила, и опять к этому же больному. А на профессора наткнетесь, мне нагоняй—зачем пустила.

Она, должно быть, еще говорила бы, но Туфахон тихо прикрыла за собой стеклянную дверь и бесшумно побежала наверх по ковровой дорожке.

— Вы к кому? — шопотом спросила ее пожилая низенькая няня в белом халате, загораживая собою дверь палаты.

— Я к Саидову. Пропустите, пожалуйста, — также шопотом, волнуясь, сказала Туфахон.

Няня приоткрыла дверь, заглянула в палату и сказала тихонько, отступив на шаг.

— Нельзя его беспокоить. Да все равно уж, идите. Там вон сидит одна.

Туфахон вошла, и первое, что она испытала, было желание сделать шаг назад и скрыться за дверью, чтоб ее не заметили. Но она уже не могла этого сделать и в страшном смущении, вся красная до корней волос, нерешительно двинулась к тому месту, где лежал Умар. Он лежал в углу, у окна, на белой больничной койке, с воспаленным, пышущим жаром лицом, выпростав одну руку из-под одеяла. Возле него, у изголовья, сидела девушка спиной к двери и держала в своих ладонях руку Умара. Девушка, должно быть, плакала, потому что Туфахон заметила, как она, не выпуская из своих рук его руку, раза два неловко склоняла голову к своему плечу, стараясь, видимо, смахнуть слезы. Умар тихонько говорил ей что-то успокоительное. Туфахон вдруг увидела, как страшно заострился его нос на изменившемся, похудевшем лице.

Умар увидел ее, замолчал и, спокойно дожидаясь, когда она подойдет, смотрел на нее. Тихим, счастливым и в то же время грустным взглядом он точно хотел сказать ей: „Вот видите, я счастлив теперь, любим, но зато болен“.

— Здравствуйте, Умарджон-ака! — тихонько сказала Туфахон, приблизившись, и вдруг неловко замолчала, не находя нужных слов. С минуту она глядела на него с грустным смущением, потом ласково посмотрела на девушку. Умар уловил ее взгляд. Похудевший, с резко очерченными воспаленными скулами, но довольный и радостный, он в свою очередь уставился на девушку сияющими счастьем глазами, потом сказал, обращаясь к Туфахон:

— Вот, познакомьтесь... Ольга Ильинична Протасова... Дочь нашего инженера.



— Слышала, слышала! — улыбаясь и здороваясь с девушкой, сказала Туфахон. — Знаю вашего отца. И вас несколько раз видела в клубе, на спектаклях, а вот не знакома.

— Теперь будем знакомы, — сказала девушка, грустно улыбаясь и глядя на Туфахон блестящими мокрыми глазами. — Он мне много про вас рассказывал, — добавила она, взглядывая опять на Умара.

— Что же вы так внезапно вздумали заболеть? — обратилась Туфахон к Умару. — И друзей своих даже не предупредили! Не хорошо так, Умарджон-ака! Поправляйтесь скорее! — говорила она шутливым тоном, словно не замечала его воспаленного лица и горячего тусклого взгляда.

— Садитесь, что вы стоите? Олечка, принеси стул! — сказал он, жалобно и ласково взглянув на девушку.

Та спохватилась, извинилась и мигом принесла стул, хотя Туфахон так и не села на него, в свою очередь извиняясь и усаживая Олечку.

— Я ведь очень ненадолго, Умарджон-ака! Вы меня простите. Прямо с перерыва убежала. Иван Павлович у нас знаете какой? Только на полчаса разрешил мне опоздать. Мы, пожалуй, завтра всей гурьбой к вам заявимся. И Шодмон-палван, и я, и Халил, и Иван Павлович, конечно, придет. Все придем.

— Приходите, очень рад буду.

— Да, да! Обязательно приходите! — сказала Олечка.

Она пошла проводить Туфахон до парадного, предварительно предупредив няню и сказав ей, чтоб она обязательно уговорила его уснуть.

— Вы слышали, какой у него жуткий хрип в груди? — спросила она Туфахон, когда они спускались по лестнице. — Даже на расстоянии слышно. Как он жарко и тяжело дышит. Нет... знаете... — добавила она прерывисто и вдруг заплакала и стала искать платочек, стоя у перил на лестнице.

— Не надо... Олечка, перестаньте!.. Что вы!.. — сказала Туфахон и почувствовала, как что-то шевельнулось у ней в горле и теплые слезы быстро затопили глаза. Они обе с минуту постояли молча, не глядя друг на друга и вытирая глаза.

— Вот вы напрасно так, — сказала, наконец, Туфахон, превозмогая слезы. — Он поправится. Непременно поправится. Ведь мало ли у кого бывает воспаление легких. А самое главное, — заговорила она уже твердым голосом, когда они снова пошли, — не расстраивайте его. Ведь ему нужен покой.

— Я понимаю это. Я все это прекрасно понимаю, — с жаром отвечала Олечка. — Но вы знаете, как мне жаль его... Я боюсь... Я люблю его, — сказала она совершенно неожиданно и так просто, как будто всегда делилась с Туфахон своими самыми сокровенными чувствами и мыслями. — И какая я дура. До сегодняшнего дня я не признавалась ему в этом. Любила и не признавалась. О, пусть бы он только скорей выздоравливал. Я ни на один час теперь не оставлю его. Буду сидеть у его постели

день и ночь. Буду следить, буду ухаживать за ним. Нет, вы не бойтесь, я не стану его беспокоить, — добавила она поспешно, взглянув на Туфахон. — Я буду сидеть поодаль, у окна, чтоб он не разговаривал со мной. Мне разрешат за ним ухаживать, как за тяжело больным. Мне даже койку поставят в палате. Я уже говорила с профессором. Мама будет приносить мне из дому обед. У меня чудная мама, — грудным, взволнованным голосом говорила она и вдруг добавила, спохватившись: — Вы извините меня, что я так разоткровенничалась. Вам ведь надо идти?

— Да, мне надо идти, — искренно и тепло сказала Туфахон. — Мы завтра придем.

— Приходите. Непременно приходите.

Они пожали руки, открыто посмотрели друг другу в глаза и расстались.

\* \* \*

Никогда бы Туфахон не могла предположить, что после того, как она побывала у Умара, который был в таком тяжелом состоянии, ей сделается вдруг легко и весело на душе. Но, как ни странно, именно это чувство испытывала она, идя по улице уверенной и быстрой походкой. Конечно, ей было тяжело сознавать, что Умар находится в таком состоянии, и будто камень ложился на сердце, когда она вспоминала его воспаленное заострившееся лицо с тусклым взглядом и тонким прямым побелевшим носом. Но другое ощущение, которое она испытывала — чувство радостного успокоения и даже счастья от того, что Умара любят, любят искренно, преданно, горячо, — овладело ею целиком. И она шла по улице, никого не замечая, с веселой задумчивостью глядя перед собой, иногда улыбаясь и удивленно встряхивая головой.

Девушка с большими голубыми глазами и светлыми золотистыми волосами в белой косыночке и белоснежном коротком халатике, такая юная, искренняя, простая, у которой ничего не могло затаиться в душе и которая, казалось, насквозь просвечивала своим чистым сердцем и непосредственной милой откровенностью, стояла все время перед ее глазами, и Туфахон была счастлива за Умара. Ей всегда казалось, — и это началось с первого дня их знакомства, когда они сидели в баракке и разговаривали, а рядом Шодмон-палван с Халилом приклеивали к стене плакаты, — что Умар немножечко равнодушен к ней, Туфахон, но сознание того, что она любима другим и сама горячо предана ему, не позволяло Умару высказать ей это открыто.

Но, оказывается, она ошибалась, и как хорошо, что она ошибалась, — ведь ей так неловко и пожалуй даже неприятно было сознавать, что она ему нравится, потому что она хотела нравиться только Ботыру. Ей также не хотелось ему ни сказать, ни показать этого, чтобы не обидеть, не огорчить его, но она всегда встречалась и разговаривала с Умаром с чувством неловкости и

стеснения, а, оказывается, это было лишнее: она ошибалась, считая, что он ее любит, он был ей просто хорошим товарищем.

И от того, что теперь больше не надо было испытывать перед ним это чувство неловкости и стеснения, и от сознания, что Умар, выздоровев, будет так же счастлив, как и она,—на душе у нее было радостно и спокойно.

Она видела Олечку несколько раз в клубе, во время спектаклей. Туфахон, пожалуй, не поверила бы, если б ей сказали, что эта девушка Оля и Умарджон любят друг друга. Она не сумела бы ответить, почему именно она не верит, но, пожалуй, все-таки не поверила бы. А теперь, когда она увидела, как это искренно и прекрасно, она поверила в их чувства так твердо, что уже не могла представить себе это иначе.

Оля была дочерью известного на заводе инженера-технолога, Ильи Ильича Протасова, считавшегося лучшим специалистом по холодной обработке металлов. Но дочь не пошла по стопам отца. С детских лет она увлекалась театром и литературой и в 1940 году, окончив десятилетку, поступила в педагогический институт на филологическое отделение и теперь училась уже на втором курсе.

В эти два дня, позабыв об институте, о доме, о еде,—обо всем, что не имело отношения к Умару, она круглыми сутками не выходила из палаты, сидела у его постели, тихая, грустная, безмолвная, и все смотрела и смотрела на него неотрывно, точно хотела насмотреться надолго, на всю жизнь...

Иногда, встрепенувшись, будто о чем-то внезапно вспоминая, она обводила взглядом палату, глядела на больных, стараясь заметить, кому из них нужна помощь, и если видела, что они, не решаясь окликнуть, просили ее молча, одними глазами, она вставала со стула, бесшумно, на цыпочках, подходила к кровати, подавала пить, поправляла подушку или, осторожно садясь на край постели, из чайной ложечки поила больного.

Затем она снова возвращалась на свое место, садилась на стул, прислушивалась, как дышит Умар, как что-то непонятное шепчут во сне его губы, часто со стоном, с болью, или наоборот—очень ясно, ласково, нежно произнося ее имя. Тогда она поспешно доставала из кармана белый батистовый платочек, вытирала глаза и, слегка склонившись к Умару, тихо, беззвучно, одними губами спрашивала:

— Что?.. Ну что, милый! Больно тебе?! Тяжело?!

Умар дышал с клекотом, с хрипом. Черная красивая бровь его иногда высоко и болезненно вздымалась вверх, точно невыносимая боль внезапно пронизывала его тело, а он не хотел крикнуть, старался вывести ее молча, спокойно.

Только раз, ночью, он вдруг широко открыл глаза и стал задыхаться. Грудь его то поднималась и замирала, будто не могла опуститься назад, то внезапно падала и опять не могла подняться. Широко раскрытыми, полными ужаса глазами он смотрел на Олю и не мог ничего сказать. А она, оцепенев от страха

и не в силах двинуться с места, долго глядела на него молча. Потом вдруг закричала, схватилась руками за голову и выбежала из палаты.

— Доктор! Доктор!— кричала она, бежа по коридору.

Голос ее громко, отчетливо раздавался в притихшем ночном коридоре.

— Доктор!..

Навстречу бежала няня, откуда-то из дверей появилась сестра.

— Что? Что случилось?..

— Доктор... Где доктор?! Он умирает!..

Рядом из комнаты вышел дежурный врач, низенькая черноволосая женщина.

— Что такое?.. Успокойтесь.

— Доктор... Он умирает!— повторила Оля и вдруг зарыдала.

Коридор сразу наполнился шумом. Врач быстро вошла в палату, но позади еще кто-то бежал, бесшумно шаркая мягкими туфлями и скользя по паркету; отворялись и затворялись двери, из палат выглядывали любопытные больные и тут же прятались, увидев сестер, что-то металлическое упало на пол и сердитый женский голос ворчливо сказал:

— Держи, Зина. Что у тебя руки-то какие... Спала, что ли? Смотри, все уронишь.

Потом быстро все стихло. Минут через тридцать врач прошла по другим палатам, вернулась в свою комнату, взяла со стола книгу и села на диван.

— Ну, как?— спросила она, когда в комнату за каким-то ключом вошла дежурная сестра.

— Ничего, спит.

— Следите хорошенько, Анна Степановна. Я вас прошу. Есаулова пусть сама сидит возле больного. Девушку уложили?

— Нет, сидит. Не хочет спать.

— Уложите. Непременно пусть спит. Уговорите и уложите. Она же переутомилась. Ведь это немисливо сидеть целыми сутками. Вы только уложите ее. Она моментально уснет.

— Хорошо, я сделаю,— сказала сестра, вышла и бесшумно прикрыла за собой дверь.

\* \* \*

Все это случилось в первую же ночь после того, как Туфахон днем приходила в госпиталь навестить Умара. До того часа, когда она вместе с Березиным, Иваном Павловичем и Шодмонпалваном на следующий день, перед вечером, пришла вновь его навестить, миновало всего немногим больше суток. Но когда к ним навстречу в вестибюль вышла из коридора Оля, как-то странно держа голову немного назад и набок и слегка прищуриваясь, Туфахон не узнала ее.

Они сидели в вестибюле все вместе, на широком кожаном диване, тихонько разговаривая, и совершенно не обратили бы

никакого внимания на Олю — до того она была неузнаваема, — если б с ней вместе не шел профессор, сосредоточенный, серьезный мужчина с крупными малиновыми губами и внимательными глазами.

Они остановились, поздоровались, и профессор сразу увел Березина в сторону.

Туфахон взглянула на девушку и вдруг вскрикнула, кинувшись ей навстречу:

— Оля! Что с вами? Вы так изменились за одни сутки...

Бессильно опустив руки и, видимо, едва удерживаясь на ногах, бледная, грустная и, казалось, равнодушная ко всему окружающему, Оля с минуту глядела на нее молча.

— Олечка, что с вами? Ему стало хуже, да? Но вы не волнуйтесь, вы...

Туфахон не договорила. Олечка бурно вздохнула, и рыдания сию же секунду вырвались бы из ее груди, но она взглянула на Ивана Павловича и Шодмон-палвана, с трудом сдержалась и только глаза ее слегка повлажнели.

— Он дышит только с кислородной подушкой. И почти все время без сознания. Вы его не узнаете, — сказала она тихо.

Туфахон молча обняла ее за талию и усадила рядом с собой на диван.

Профессор все еще что-то говорил Березину, затем Березин взял его под руку и они вдвоем ушли в палату. Потом они снова вернулись, и профессор, постоив с Березиным еще минуты две, энергично пожал ему руку, попрощался с остальными и куда-то быстро пошел по коридору, дружелюбно кивнув Оле.

— Ну что ж, товарищи, домой? — весело спросил Березин, как будто он только что сделал хорошее и важное дело. — Опасного, конечно, с ним ничего нет, но сейчас его лучше не беспокоить. Так ведь, товарищ Протасова? — добавил он, обращаясь к девушке и слегка тряхнул ее хрупкие плечи.

— Не нужно падать духом. Не нужно. Возьмите себя в руки! — сказал он ей серьезным и бодрым шопотом. — Поняли? Держитесь стойко.

Оля встала, пристально посмотрела ему в глаза и вдруг печально улыбнулась.

— Вот так-то, — сказал он и смешно тряхнул головой, будто разговаривал с малышом.

Оля вышла их проводить на крыльцо, но ей не дали долго стоять с ними — она была легко одета — и тотчас же, попрощавшись с нею, вернули назад.

— А лучше было бы, если б вы шли. домой, — сказал ей Березин, пожав руку. — Здесь, ведь, найдется кому ухаживать за ним.

— Я тоже ей говорила, чтобы шла домой, — поддержала его Туфахон.

— Нет, товарищи, в этом уж я вас не послушаю, — сказала Оля и, кивнув головой, скрылась за стеклянной дверью.

Но едва лишь она ушла, а они спустились с крыльца и не-

сколько шагов прошли по улице, как Березин вдруг помрачнел, насупись и долго ничего не говорил. Шодмон-палван, Иван Павлович, Туфахон,—все молча посматривали на него с тревогой, не решаясь задать ему вопрос. Да, должно быть, и не надо было задавать никаких вопросов,—так все было ясно и понятно без слов.

Ненастные холодные сумерки сгущались над городом, и в сумерках они дошли до перекрестка улиц и молча остановились. Березин вынул портсигар, закурил. Иван Павлович с Шодмон-палваном от папиросы отказались, оба не курили.

— Ну что же, товарищи,—сказал, наконец, Березин и тяжело вздохнул.—Слезам горю не поможешь, как говорится. Да, впрочем, и плакать-то еще рано, может быть, он поправится. Во всяком случае я каждый день буду вас информировать о состоянии его здоровья.

Он крепко, сильной рукой, пожал им руки и ушел, то ли домой, то ли опять куда-то по делу.

Иван Павлович через два квартала тоже повернул к дому, а Туфахон с Шодмон-палваном быстро пошли на завод.

Дня два после этого Туфахон не могла вырваться с завода хоть на часок и сбежать в госпиталь навестить Умара. Днем она пспрежнему работала с Иваном Павловичем за токарным станком, и старик каждое утро, едва входил в цех, сообщал ей, как чувствует себя Умарджон, о котором он сам узнавал от Березина по телефону. Вечером после гудка тотчас же вставала на вторую смену и целых восемь часов—теперь уже не четыре, а восемь—возила на электрокаре грузы.

На третий день после того, как они побывали в госпитале, старик пришел утром чем-то особенно озабоченный. Он даже ничего не сказал Туфахон о том, как чувствует себя Умар, и до самого обеда работал хмурый, неразговорчивый, хотя был удивительно внимателен и даже ласков с ней, что никак не вязалось с его сердитым и насупленным видом и было вообще на него не похоже. Один раз он даже не пожалел свои старые кости, полез под верстак, поднял крон-циркуль, который уронила девушка, и подал ей в руки, ласково сказав при этом:

— На, не роняй.

Перед самым обедом, когда она только что хотела спросить у него, почему он такой невеселый и не случилось ли что у них в доме, старик вдруг подошел к ее станку и так пристально и сердито стал вглядываться под резец, что у Туфахон похолодело сердце. Она думала, что Иван Павлович заметил что-нибудь неладное, и стояла возле него, ни жива, ни мертва. А он, не меняя позы и все так же внимательно и сердито глядя под резец, сказал каким-то чужим, незнакомым и скрипучим голосом:

— Ну, вот и все, товарищ Норматова. Теперь больше не будем с тобой ходить в госпиталь.

— Что?..

— Не будем, говорю, больше ходить в госпиталь. Не к кому.

— Почему?..

— Умер.

— Что?!

— Умер.

Старик внезапно выпрямился и грустно и открыто посмотрел ей в лицо. Очки его вдруг запотели, он медленно снял их и стал протирать платочком.

## VI

Дни и ночи...

Как бы стремительно ни летели они и какими бы не были заполнены событиями и впечатлениями, все-таки та ночь, когда командир батальона принес ему два первых письма от Туфахон, а потом под утро началась атака и он вместе с другими вошел в глубокие вражеские окопы, эта ночь запомнилась Ботыру навсегда. Автоматная стрельба, взрывы гранат, людские хриплые от ярости голоса, глухие удары прикладов, звяканье оружия, котелков, касок, когда немцы тут же, в траншеях, падая на колени и поднимая вверх трясущиеся руки, умоляюще шепелявили: „Русе... Русе камарад...“

Дни и ночи...

Много потом пронеслось их еще, и все они сливались в одно общее впечатление: дым... огонь. Пороховая копоть на лицах бойцов. Атаки, сражения. Тесная землянка с коптилкой из-под снарядной гильзы, солдатские шутки, смех, разговоры, гармошка и крепкий сон на два, три, четыре часа, а потом снова: дым... огонь... Раскаты орудийных выстрелов, страшный, сотрясающий землю шум танковых гусениц, ночное небо в багровых заревах, то далеких, то близких, и темное поле в черных воронках...

Изредка в эти ночи и дни в личной жизни Ботыра происходило яркое, ни с чем не сравнимое радостное событие: письма Туфахон, письма из дому, из далекого, милого, солнечного Узбекистана. Они иногда приходили все сразу, кипой, целым десятком. Сначала он читал их один, где-нибудь ночью в землянке, при свете той же коптилки из-под снарядной гильзы, или днем, на траве, где-нибудь под деревом, а потом начинал читать товарищам вслух, тут же переводя на русский язык, со сверкающими счастьем глазами рассказывая им о девушке с косами, темными и волнующими, как теплая летняя ночь, с лицом нежным и смуглым, как персик в саду, с руками быстрыми и горячими, как у Ширин, с душой сильной и крепкой, как у воина. Ботыр рассказывал о богатом, обильном, родном Узбекистане.

— Ты знаешь наш Узбекистан? Ты слышал о нашем канале, Большом Ферганском канале имени Сталина? Сто шестьдесят тысяч человек строили его, и тянется он почти на триста километров. Ты видел поле без конца и края, усеянное белым золотом, когда люди в ярких, самых лучших одеждах выходят его собирать, как на праздник? Ты слышал, как пахнет джида в

цвету? Ел наши персики, виноград, дыни? Елинжир?.. Видел наши горы, новостройки, шахты, заводы?! Знаешь, нет?!

Боец уже ничего не отвечал и только слушал его завороченный, с раскрытым ртом.

Письма от Туфахон были веселые, жизнерадостные, полные веры в победу.

Лишь однажды, это было уже летом, в июне месяце, когда батальон отдыхал после тяжелых боев где-то в глухом лесу, километров за пятьдесят от фронта, Ботыр получил от Туфахон грустное письмо, в котором она сообщала, что 31 марта в госпитале от крупозного воспаления легких умер Умар. Но, откровенно говоря, Ботыр недолго разделял огорчение Туфахон, отчасти потому, что мало знал Умара и уже почти не помнил его, но главное, все-таки, потому, что слишком много за это время пришлось ему видеть, как смерть вырывала из жизни совершенно здоровых, веселых и жизнерадостных парней, которым надо было еще жить да жить, смеяться да радоваться.

После отдыха снова начались тяжелые походы, бои, и опять стремительно полетело время, перепутались дни и ночи, когда по шесть, по восемь, по двенадцать раз в сутки приходилось бывать под бомбежкой вражеских самолетов и так же часто отбивать атаки танков и пехоты противника.

В конце сентября батальон Казакбая спешно перекинули в Сталинград. Темной ночью солдаты на баржах благополучно переправились через Волгу на „малый“ берег, но пока они, освещаемые заревом близких пожаров и несколько раз попадавшие под обстрел вражеских минометов, добрались, наконец, до того перекрестка, где им предстояло занять оборону в одном из полуразрушенных четырех зданий, начался рассвет.

Это здание—каменный трехэтажный дом—было единственным опорным пунктом, который находился в наших руках, а три других угловых дома, также выходивших на перекресток, занимали немцы. Чтобы попасть в этот дом, уже много суток подряд удерживаемый нами всего-навсего одной ротой Казакбая со своей частью надо было только перебежать улицу, но сейчас сделать это можно было лишь с риском потерять половину людей, так как немцы из занятых ими трех зданий обстреливали все четыре улицы и, разумеется, и перекресток и самый дом. Поэтому, укрыв свои подразделения за грудями щебня и битого кирпича, капитан Казакбай решил атаковать немцев в одном из занятых ими домов со стороны двора.

Однако немцы именно в это утро, решив, видимо, сделать последний удар и занять, наконец, четвертое здание на перекрестке, открыли по нему яростный минометный огонь. Казакбай понял, что они собирались идти в атаку. Его предположение поддержал офицер, встретивший батальон Казакбая на берегу и проводивший его сюда, до перекрестка. Казакбай решил ждать. Но ждать пришлось недолго.

— Вот они. Глядите!—сказал офицер, и Казакбай, лежавший



рядом с ним за грудой жженого кирпича, увидел, как немцы, прыгая из всех окон и выскакивая из-за углов, выбегали на перекресток и тут же ложились, ползли, затем снова вскакивали и бежали.

Над перекрестком стояла странная тишина.

Немцы подковой огибали здание, которое все еще молчало, не проявляя никаких признаков жизни. И в том, что на площади было так тихо, а немцы чего-то боялись и ползли, лишь иногда на секунду вскакивая и делая короткие перебежки, и в том, что их было так много, а они все еще выбегали и выбегали на перекресток и там ложились, скапливались, ползли, все ближе и ближе подбегая к зданию, а оно, здание, все еще молчало, Казакбай почувствовал, какую страшную осаду выдерживала здесь эта рота. Немцы, наконец, перестали прыгать из окон и выбегать из-за углов на перекресток. Огибая здание подковой, они в мрачном и яростном молчании продолжали продвигаться к нему. Концы подковы были уже под стенами здания. Один из немецких солдат прыгнул на подоконник, вернее на мешки, туго набитые песком и уложенные между оконными косяками; солдат прыгнул и уцепился, как кошка, и к нему уже подбегали другие, а в это время еще четверо вбежали на крыльцо и на какую-то долю секунды остановились в нерешительности, не зная, бежать ли им за угол, или стаскивать мешки с песком, уложенные в проходе в том месте, где когда-то были двери, и освободить проход; именно в это мгновение с верхних этажей на них посыпались гранаты, раздались взрывы, и сразу вся площадь заполнилась криками, стрельбой, дымом и пылью. Концы подковы оборвались, исчезли, пропали. Ни того солдата, который прыгнул на подоконник и уцепился за мешки, ни тех, что успели первыми вбежать на крыльцо, — никого уже не было. Однако немцы все сразу поднялись и с криками, со стрельбой бегом устремились к зданию.

В этот самый момент Казакбай поднял своих бойцов и повел их в атаку. Часть бойцов — по численности это была одна рота — устремилась на площадь, во фланг немцам, а другая часть, во главе которой пошел сам Казакбай, рванулась на штурм здания, расположенного через дорогу от того, которое занимала наша, незнакомая Казакбаю, рота.

Пожалуй, никто из солдат и командиров обоих подразделений капитана Казакбая, как тех, что пошли на штурм здания, так и тех, что пошли на немцев в рукопашную, не мог бы последовательно и ясно рассказать, что произошло здесь, на площади, в эти полчаса.

Это была одна из тех горячих схваток, когда забываешь обо всем на свете, — и о том, что в следующее мгновение ты, может быть, ткнешься лицом в холодный разбитый асфальт и не успеешь сказать своих последних коротких слов: „Прости, Родина“, и о том, что за чертой дыма, огня, пыли и выстрелов есть жизнь, жизнь, которую ты защищаешь, есть тишина, синий

прозрачный воздух, сады, люди, города, девушка, которая думает о тебе; когда забываешь даже о времени и не знаешь, сколько минут, а может быть час, или два, или вечность кипит этот бой, и ты не считаешь врагов, которые все бегут и падают и опять бегут на тебя; забываешь даже подумать о том, что, может быть, ты слишком увлекся боем и вокруг тебя давно уже нет никого из своих бойцов и ты дерешься один,—забываешь об этом, забываешь подумать о себе и только чувствуешь, как все кипит в тебе и рвется вперед, и хочется бить и бить врагов до тех пор, пока они не перестанут бежать, кричать, метаться по перекрестку, пока все это не прекратится, не исчезнет, не рассеется.

Это была одна из тех схваток, когда забываешь обо всем на свете и видишь только бегущего на тебя немца, его шинель, автомат, перекошенную криком и злостью свирепую рожу, и с крайним напряжением чувствуешь, что его надо сейчас убить, вот сейчас, немедленно, сию же секунду, иначе будет поздно и ты уж никогда потом не исправишь своей ошибки, не вернешь этой доли мгновения.

Мгновение миновало, немец упал, но ты уже видишь, как бежит на тебя другой, в такой же шинели и толстых ботинках, с таким же перекошенным, раскрытым ртом, и опять то же острое сознание, что его надо убить, что сейчас будет поздно, а там, позади него, уже бегут на тебя двое, и ты смотришь на них и сам бежишь им навстречу и ничего не замечаешь,—ни осколков, ни пуль, ни битого щебня, с шелестом и визгом несущихся мимо тебя, не замечаешь ни собственного крика, ни крови на щеке, тоненькой струйкой стекающей за воротник гимнастерки, ничего. Только бой, дым, огонь, немцы, бегущие тебе навстречу, и это страшное напряжение воли, внимания, всей твоей внутренней силы, и гнев, который заполняет все твое существо и заставляет рваться вперед, и жажда бить их и бить без конца, как можно больше, без усталости,—вот что ты чувствуешь, видишь и слышишь в эти минуты жизни, и вот что чувствовали, видели и слышали все, кому пришлось в это утро драться здесь на перекрестке: и Ботыр, и Силантьев, и каждый солдат этой роты.

Едва ли мог кто-нибудь из них после сказать, сколько времени длился этот ожесточенный бой на перекрестке. И никто не заметил, когда он кончился, когда немцы перестали сопротивляться. Да они, впрочем, и не думали переставать сопротивляться. Они были просто перебиты, хотя их было втрое больше: только некоторые из них успели в суматохе попрыгать обратно в окна и скрыться в домах, когда еще на площади кипел бой.

Ботыр не помнил, как он попал на крыльцо того самого здания, которое занимала наша рота. Он перепрыгнул через трупы немцев, что валялись тут же, у крыльца, прислонился спиной к стене и поднял голову. Только сейчас он понял, что бой кончился. Над площадью еще стояла пыль, смешанная

с дымом, всюду, среди битого щебня кирпичей и черных осколков, валялись убитые немцы. Изредка, то там, то здесь, раздавались истошные крики раненых. Отовсюду: из за углов дома и по площади бежали к крыльцу красноармейцы.

Ботыр устало провел рукавом по лицу и внезапно почувствовал такую крайнюю слабость, что ему сейчас же, немедленно, вот прямо здесь, на крыльце, захотелось опуститься на ступеньку и минутку отдохнуть. Но он знал, что этого делать нельзя, что стоит ему помедлить еще секунду, другую, и он будет убит выстрелом из окна. Поэтому, едва успев прислониться к стене и перевести дух, он уже в следующую секунду, еще не отрываясь от стены и продолжая глядеть на площадь, на бойцов, которые бежали к нему, выбросил одну руку в сторону, схватил-ся пальцами за косяк и рванулся затем к проходу.

В это мгновение из-за угла выбежал лейтенант Силантьев. Они оба столкнулись в проходе и радостно остоленели, изумленные: проход был уже свободен, тяжелые мешки с песком были разобраны и лежали тут же, за стеной. Молча улынувшись друг другу, они вместе с солдатами побежали дальше по коридору. Но не успели они пробежать и несколько метров, как опять остановились. Коридор был наглухо перегороден огромными, неподъемной тяжести каменными плитами, кирпичами, мешками с песком.

Привыкнув за долгие месяцы войны быстро ориентироваться в боевой обстановке, они огляделись и моментально поняли, в чем дело: эта тяжелая глухая преграда была, видимо, необходима тому, кто оборонял этот дом. Широкий просторный угол слева указывал на то, что здесь была раньше каменная лестница, разобранная или взорванная, очевидно, умышленно, чтобы нельзя было сразу попасть на второй этаж. Узкая каменная площадка, без всякого упора висевшая над головой тяжелой глыбой, также сворачивала влево и вела к другой лестнице, совершенно целой и невредимой, поднимавшейся, видимо, к третьему этажу. Там, наверху, виднелись даже деревянные перила с железным нетронутым переплетом.

Еще никто из них не успел взобраться на эту площадку, чтобы затем подняться по лестнице выше, как там, наверху, должно быть на следующей площадке, послышались голоса и чьи-то быстрые шаги.

— Чорт возьми! Ваня! Друг мой родной! Радость-то какая! — кто-то говорил низким взволнованным голосом, и в ту же секунду шаги быстро застучали по лестнице.

— Только ты зачем же идешь? — опять сказал прежний голос. — Смотри, бинты у тебя какие?! Скоро капать с них начнет.

— Ничего. Стерплю. Встретить хочется, — сдавленным голосом отвечал другой, должно быть превозмогая боль.

— Ну, ничего, идем, — снова отозвался первый где-то уже совсем близко и вдруг воскликнул, показываясь на краю площадки:

— Вот они!

Это был старшина, на удивление крепко и ладно сбитый. Красивое мужественное лицо его, со следами копоты и грязи на лбу и на щеках, было одухотворено выражением огромной радости и внутренней силы. Не задумываясь и не оглядываясь больше на своего товарища с забинтованной левой рукой, который показался вслед за ним, старшина прыгнул с площадки второго этажа вниз, приложил руку к головному убору и стал четко и быстро докладывать Силантьеву:

— Товарищ лейтенант! Рота старшего лейтенанта Воинова в количестве...

— Родной мой!— сказал Силантьев и обнял старшину.— Все ввижу. Все.

Они обняли друг друга и на минуту застыли, не двигаясь. Солдаты смотрели на них молча, скованные волнением. Кое-кто вытер глаза рукавом.

Старшина, наконец, отпустил Силантьева, весело взглянул на раненого красноармейца, который при помощи двух бойцов пытался спуститься вниз, и громко сказал ему:

— Ваня, ладно уж тебе. Гляди, бинт-то весь, как кумач стал. Не слезай. Сейчас мы все туда пойдем.

Он обнял Ботыра, крепко, молча, по-мужски поцеловался с ним, затем широко распахнул объятия, захватил в них еще несколько бойцов и вдруг сильными и ловкими движениями посадил их одного за другим на каменную площадку второго этажа.

— Чу!.. Ребята, стойте!— сказал он весело и вдруг растерянно и с недоумением огляделся.— А где же младший сержант Шустов?! Младший сержант Шустов где? Он же у нас в нижнем этаже один оборону держал. Вот здесь у амбразуры с автоматом сидел. Слышишь, Ваня?

— Так вот это он же, очевидно, мешки сдвинул с прохода,— сказал Силантьев.

— Он, конечно. Да куда он сам-то делся,— уже, видимо, забеспокоившись, проговорил старшина.— Шустов! Младший сержант Шустов!— прокричал он громко.

— Я вас слушаю, товарищ старшина!— послышался в это время усталый голос, и в проходе показался низенький человек в стеганой ватной фуфайке, весь увешанный немецкими автоматами, тяжелыми магазинными коробками и еще другими боеприпасами и оружием.

— Я вас слушаю, товарищ старшина!— тем же медленным, усталым голосом повторил Шустов, приблизившись.

— Это что такое! Опять трофей?!— изумленно воскликнул старшина и бросился снимать с Шустова автоматы, парабеллумы и боеприпасы.— Молодец, товарищ Шустов! Молодец, дружок!

— Служу Советскому Союзу!— ответил Шустов, еле держась на ногах и покачиваясь от усталости.

Лицо его, с большими серыми глазами; черное от бессонницы, копоты и грязи, было мокро. По левой щеке бежала тоненькая струйка крови.

Он вытер щеку ладонью, посмотрел на руку и сказал спокойно, точно самому себе:

— Задело чем-то щеку!

Потом взглянул на Ботыра, на лейтенанта Силантьева, на бойцов, молча обступивших его, и вдруг, весело улыбнувшись, сказал, обращаясь уже только к Силантьеву:

— Здорово вы им всыпали, товарищ лейтенант! Всех без малого уложили.

— Вот уже второй раз ходил за трофеями,— сказал в это время старшина про Шустова, не слушая его и тоже обращаясь к Силантьеву.— Первый раз я сам посылал. Боялись, что нехватит у нас боеприпасов.

— Правильно делали,— сказал лейтенант.— Только вот зря вы на верхний этаж забрались.

Используя короткий роздых, все закурили. Уже минут десять лейтенант Силантьев ждал связного, которого он послал еще во время боя к капитану за распоряжениями, укрепиться ли им только в этом доме, или, может быть, не давая немцам опомниться, сейчас же атаковать их еще в одном здании. Несколько раз лейтенант беспокойно поглядывал туда, где был проход, и где, укрывшись за стеной и за короткими пузатыми мешками, сидели два автоматчика.

По ту сторону перекрестка сражение, очевидно, тоже подходило к концу, и лишь глухие продолжительные очереди немецких автоматчиков говорили, что немцы, засевшие в подвалах и отдельных квартирах, все еще отстреливались.

День начался, и в разных концах города вспыхивали все новые и новые очаги сражения. Били минометы, сыпался частый град автоматной стрельбы, заливались пулеметы, гудела зенитная артиллерия, слышался глухой обвалный шум тяжелых авиабомб, шумели пожары, и все это сливалось в такой треск, грохот и гул, от которого непривычного человека начинало тошнить, пока он не плюнет, бывало, на весь этот грохот и не перестанет к нему прислушиваться.

— Начинается музыка,— спокойно сказал старшина и посмотрел с улыбкой на Силантьева.

Они сидели у самого прохода на твердых мешках с песком.

Старшина Матвеев, веселый, стройный и красивый парень, со вчерашнего вечера, когда офицер Пупышев ушел на берег Волги встречать батальон Казакбая, остался здесь за командира роты, так как сам командир роты, старший лейтенант Воинов, был убит минут через двадцать после того, как ушел Пупышев. Бойцов осталось человек двадцать, все были до крайности утомлены непрерывными боями, жестоким нечеловеческим напряжением. К тому же многие из этих двадцати бойцов были ранены.

А немцы, будто зная всю тяжесть положения маленькой горстки людей и решив, что теперь ничего не стоит выбить их или истребить, еще вечером два раза ходили в атаку и оба раза откатывались назад.

— Вы знаете, это было самое страшное. Не смерти я боялся. Я боялся, что немцы выбьют меня, займут здание. Вот что было страшно. Вот что было так страшно,— говорил старшина.— А теперь я счастлив. Вы понимаете,— продолжал он с сияющими глазами,— мы все-таки выстояли, вот почему я счастлив.

Матвеев на секунду замолк, спокойно посмотрел на потолок, когда от сильного и близкого взрыва здание содрогнулось и закачалось и сверху посыпалась штукатурка, затем добавил негромким, восторженным голосом:

— Мне кажется теперь, что нет жизни интересней, чем у советского офицера. Кончится война, и я непременно пойду в военное училище, и именно на пехотного офицера учиться.

Едва он успел это сказать, как на крыльце что-то зашелестело, и в ту же секунду в проходе появился связной. Он полз буквально на животе и так низко пригнул голову, что правая щека его почти касалась земли. Почувствовав, наконец, что он дома и находится теперь в надежном укрытии, связной встал на ноги и, приложив руку к голове, стал докладывать:

— Товарищ лейтенант! Ваше приказание выполнил. Командир батальона приказал немедленно атаковать трехэтажное здание.

— Видели? — спросил лейтенант связного.

— Что?

— Вас видели немцы, что вы ползли сюда?

— Не видели, товарищ лейтенант. Все сделал, чтобы не увидели.

— Молодец! Покури пока. Три минуты отдыха.

Приказав Матвееву открыть огонь, лейтенант проверил расположение всех огневых точек, установил внизу миномет, а затем стал объяснять бойцам, как они будут продвигаться и с какой стороны лучше подойти к зданию.

\* \* \*

Было десять часов утра, когда лейтенант Силантьев, отдыхавшись, взглянул на часы. Только сейчас, всего две—три минуты тому назад, рота при поддержке полувзвода бойцов, которых прислал капитан Казакбай, штурмом овладела третьим на перекрестке трехэтажным зданием. Откуда-то, из дальних полуподвальных помещений, донесся приглушенный звук гулко лопнувшей и сыпанувшей осколками ручной гранаты, где-то рядом над головой прогремел выстрел, по коридору бегом прокатили станковый пулемет, что-то трещало, сыпалось, и весь дом и все предметы в нем еще были охвачены ознобом и, казалось, издавали тихий, не то жалобный, не то радостный стон.

Потом все затихло, точно замерло, прислушиваясь к шуму возраставшего в городе боя. Рядом с Силантьевым был только один Ботыр. Они вместе вбежали в это сумрачное полуподваль-

ное помещение, до прихода немцев и днем и ночью освещавшееся электричеством и служившее, видимо, кухней для какого-нибудь техникума или института. Здесь была большая электрическая плита, разбитая на части, два массивных широких стола, обитых белой жестью и с привернутыми к ним мясорубками, несколько скамеек, табуреток, стульев, переломанных, перековерканных и наполовину порубленных немцами на дрова. Здесь же валялись, как впрочем и в других помещениях, пустые минные ящики, патронные диски, почерневшие расстрелянные гильзы, бутылки из-под русского, французского и испанского вина, консервные банки. Четырех убитых немецких солдат бойцы лейтенанта Силантьева тотчас же вытащили куда-то в коридор. Черная, полубогоревшая электропроводка свисала со стен и с потолка, вырванное прямым попаданием снаряда, вместе с карнизом и железной решеткой, окно было заложено жженым кирпичом; в нем оставлена бойница для спаренного немецкого пулемета и еще какая-то щель сбоку, возле которой можно было в любую секунду присесть с автоматом. Впрочем, и этот спаренный немецкий пулемет, оставшийся целехоньким и невредимым, потому что был, видимо, перетащен сюда из какого-то другого места уже после того, как было вырвано это окно, и восемь штук еще горячих, неостывших автоматов с достаточным количеством боеприпасов лежали здесь же у амбразур и подоконников на полу.

Окинув взглядом помещение, Силантьев устало улыбнулся Ботыру и ничего не сказал. Потом он пододвинул ногой пустой ящик из-под снарядов, присел на него и, размазав на потном и красном лице пороховую копоть, сказал, все так же не переставая улыбаться:

— Теперь можно отдышаться. Закурить. На нашем участке пока будет тихо. Немцы из того здания, — он кивнул головой в сторону окна, выходящего на перекресток, — не осмелятся сделать сейчас ни одного выстрела. Будут молчать, как в могиле.

— Почему? — спросил Ботыр, также вытирая рукавом потное и разгоряченное лицо. — Подкрепления будут ждать?..

— Будут ждать подмоги. Попытаются потом выбить нас. Но уж это им не удастся, — сказал он весело. — Как думаешь, старший сержант, не удастся?

— Не удастся, товарищ лейтенант, — с улыбкой ответил Ботыр.

— Я тоже в этом уверен. Ну, как, письма теперь получаете? — спросил он неожиданно.

— Получаю, — сказал Ботыр и, откинув полу шинели и готовясь, видимо, тоже присесть на ящик и еще что-то рассказать, вдруг замолк, прислушался, слегка склонив голову на бок и косясь на потолок.

Лейтенант, начавший было закуривать, взглянул на Ботыра, перестал скручивать папиросу и тоже прислушался. Так, поглядывая вдруг на друга и поглядывая на потолок, они с минуту прислушивались молча, потом оба сразу улыбнулись, повеселели и лейтенант сказал громко и восторженно:

— Вот люди! Орлы. Витязи, а не люди. Пять минут тому назад боролись со смертью, а сейчас уже пляшут. Вот черти, — добавил он добродушно и стал опять скручивать папироску.

Эти секунды короткой тишины, которая сразу же после боя установилась здесь на перекрестке, когда вокруг, во всем огромном городе, кипел страшный бой, гремели тысячи орудий, носились в воздухе самолеты, и многотысячные выстрелы винтовок, очереди автоматов и пулеметов сливались в один сплошной, нескончаемый и плотный, как стена, залп, лейтенант Силантьев и Ботыр слышали наверху, над своей головой сначала какое-то неразборчивое движение, топот ног и звяканье оружия, затем свист, звуки русской двухрядной гармошки и пляс. По быстроте и силе отбиваемой чечетки, сменявшейся простым перебором ног с хлопанием ладонями по голенищам, по коленкам, по животу и по подметкам нетрудно было определить, что плясали цыганочку. Но кто-то плясал ее так лихо, с таким захлестывающим душу безудержным русским весельем, что Силантьева и Ботыра так и подмывало пойти посмотреть, но они до того устали, что им не хотелось подыматься. Вслушиваясь в этот поток разудалого веселья, они на минуту забыли обо всех боях, тяготах и лишениях.

— Вот рвет, вот рвет, — сказал лейтенант, невольно поглядывая на потолок и затягиваясь крепким, душистым махорочным дымом.

Ботыр взглянул на него и ничего не ответил. Так, покуривая, они немного посидели молча.

— Эх, Ботыр, хорошо бы сейчас отдохнуть хоть часок, — мечтательно и со вздохом сказал лейтенант. — Хоть полчаса. Двадцать минут хотя бы. Только бы очутиться дома, на траве, в березовой роще. И чтобы не было ни войны, ни этого грохота, ничего. Знаешь, как в детстве... Беззаботно, легко...

— Да... У нас бы в Узбекистане побывать. Там сейчас еще жарко. Дынь много, винограду, персиков.

Он вздохнул.

Лейтенант докурил папироску, энергично растоптал ее каблучком и вдруг, весь как-то переменившись, сказал неожиданно жестким и твердым голосом:

— Однако мы сколько с тобой уже отдыхаем? Минут десять?.. Точно, десять минут. За десять минут знаешь что может произойти?.. Давай-ка, друг, вот что: вызови ко мне сейчас командиров взводов Рябина и Лукашенко. И сам возвращайся. Надо укрепиться, как следует. Понятно?..

— Понятно, товарищ лейтенант. Непрístupный ДОТ сделаем из этого дома.

Он козырнул и быстро вышел. Минуты через три, когда он вместе с двумя офицерами возвращался назад, они почти у самых дверей столкнулись с капитаном Казакбаем и, невольно остановившись и уступая ему дорогу, молча вытянулись.

— Здравствуйте, товарищи! — сказал он, всем по очереди



пожав им руки, и на секунду обрывая свою мысль, которую он высказывал вслух шедшему за ним лейтенанту Силантьеву.

Они все пятеро поднялись по каменной короткой лестнице на первый этаж и пошли по коридору.

— Гараж во дворе, который будет мешать вам, как бельмо на глазу, необходимо сейчас же снести, — находу говорил капитан Казакбай, снова обращаясь к Силантьеву. — На верхнем этаже, в том окошечке, из которого вся, как на ладони, видна дальняя улица, выставить наблюдателя. Я полагаю, что они пойдут именно оттуда, потому что все остальные пути подхода к перекрестку нами простреливаются, и немцы несомненно учтут это. Поэтому здесь надо побольше сосредоточить огневых средств, чтобы покрывался огнем каждый метр площади.

Капитан Казакбай вместе с Силантьевым и командирами взводов побывал во всех уголках здания, во дворе и во всех полуподвальных помещениях, где в основном закрепились подразделения. Когда они вошли в самый дальний угловой подвал, низкая одностворчатая дверь в который открывалась почему-то очень туго, они вдруг все молча остановились и едва не попятились назад. Они, собственно, и не вошли, а только открыли дверь, и стояли на пороге, потому что дальше и идти-то было некуда: все огромное полусумрачное помещение подвала было доверху, как дровами, забито трупами немецких солдат, в большинстве без шинелей и без ботинок, с голыми торчащими ногами.

Секунду помедлив, Казакбай снова решительно захлопнул дверь.

Капитан до вечера пробыл в этом здании, а когда стемнело, вместе с ординарцем ушел к себе.

Немцы так и не решились засветло посылать сюда подкрепление, и целый день солдаты во всех трех занятых ими зданиях отдыхали, кипятили чай и даже несколько раз попеременно, неподолгу спали. Для каждого человека, находившегося тогда в Сталинграде, это могло показаться невероятным, — спать среди белого дня в этих зданиях на одном из широких перекрестков и, если не считать утра, ни разу не ходить в атаки и не отражать их. Но, как это ни удивительно, такие дни относительного затишья в отдельных кварталах иногда случались.

Однако немецкое подкрепление, появления которого все время ждал Казакбай, не показалось даже и тогда, когда стемнело. Казакбай начинал уже беспокоиться, не проморгал ли он, и не пришло ли это подкрепление к ним какими-нибудь другими, неизвестными ему путями. Но нет, этого не могло быть! Не могли же все наблюдатели, да и не только одни наблюдатели, а все подразделения, весь батальон, при дневном свете не увидеть, как подошли немцы. И, тем не менее, успокаивая себя этими простыми и логическими доводами, Казакбай начинал злиться из-за того, что он сам попусту потерял день, не попытавшись пойти в атаку и завладеть этим четвертым, последним зданием на перекрестке. И хотя перед вечером, когда люди уже достаточно

отдохнули, и можно было вполне идти на штурм, Казакбай так и не принял этого решения, опасаясь попасть в такую же ловушку, в какую сам он утром поймал немцев, когда, подоспев к началу предпринятой ими атаки, он ударил им во фланг и тыл.

И все-таки он злился, что упустил время и не произвел атаки раньше.

Вечером, когда он вернулся от Силантьева к себе, ему доложили, что на смену той роте, которая в течение многих суток одна выдерживала здесь страшную и непрерывную осаду, и где за командира все еще оставался старшина Матвеев, пришло новое и полнокровное подразделение. Произвести эту операцию, — одних отправить, и отправить тихо, незаметно, чтобы не привлечь внимания немцев, а других принять и ознакомить с обстановкой, капитан Казакбай пошел сам.

И когда часа через полтора в осенней крошечной тьме он возвращался к себе, настроение его было уже другое. Казакбай чувствовал, что с этой силой, которая скопилась сейчас под его командованием, он может стоять крепко, и не только стоять, а теперь уж немедленно начать атаку.

Красноармеец, ползком, так же, как и сам капитан, пробиравшийся вслед за ним через перекресток, не мог видеть, как он улыбался. А он улыбался потому, что ему понравились люди, смелые, решительные, веселые, большинство из которых были уже хорошо обстреляны и в боевой дух которых он твердо верил. В роте были и русские, и украинцы, и белоруссы и, что особенно приятно было сердцу Казакбая, он встретил там несколько человек узбеков. Приятно именно потому, что он видел их здесь — на сталинградской земле, и это поднимало в нем чувство гордости за родной Узбекистан.

Только один из них, Кодыр-али Шарапов, как он назвал себя капитану, не особенно понравился ему. Как ни старался капитан с ним разговаривать, тот все отмалчивался, делал вид, что не слышит обращенных к нему вопросов, что-то доставал из вещевого мешка и все время украдкой ел. „Ничего, обомнется. В бою еще мало бывал“, — подумал про него Казакбай.

Имея теперь достаточно сил для того, чтобы часть их оставить на месте, а с другой частью предпринять атаку, командир батальона решил больше не дожидаться немцев и начинать атаку немедленно. Он уже начал было отдавать приказания, когда вдруг стало известно, что немцы подходят. Они подходили сразу с нескольких направлений и довольно большими группами, очевидно надеясь на то, что им удастся рассредоточить наше внимание и какая-нибудь группа сумеет пройти незаметно, и на то, что если уж не всем, то хоть какой-нибудь одной из них удастся пробиться и проникнуть в здание, если их даже встретят огнем со всех направлений.

Это был момент, когда Казакбай еще раз пожалел о том, что не было занято это последнее, четвертое здание. Конечно, тогда

бы ему было легче. Впрочем, тогда все и повернулось бы иначе. О чем жалеть? Война — есть война.

Быстро приняв новое решение, командир батальона стал ждать того удобного момента, который, как он знал уже по опыту, должен был наступить. Когда в темноте, стараясь укрыться за грудками щебня и развалинами домов, показались первые одиночные фигуры немцев, он не стал открывать огня и пропустил их на перекресток. Капитан знал, что автоматчики пристрелят их по ту сторону перекрестка, у самого того здания, к которому они стремились. А тем временем, пока еще эти отдельные фигуры ползли через перекресток, немцы, осмелев и, видимо, решив, что они идут незамеченными, вдруг скопом стали выбираться на перекресток. Когда их накопилось уже так много, что они усеяли весь перекресток, где-то впереди прозвучали отдельные короткие очереди автоматчиков, которым было приказано следить за первыми фигурами и пристреливать их у самого здания. Стало казаться, что немцы вот-вот поднимутся и просто побегут, чтобы одним броском преодолеть этот самый страшный для них участок пути; и вдруг со всех сторон, как тысячи кривых и стремительных молний, на них обрушился такой сильный шквал огня, что на несколько минут осветились стены домов, желтые груды разваленных кирпичей и сами немцы, заматавшиеся в разных направлениях.

Трудно сказать, сколько секунд, а может быть минут, длился этот светлый карающий шквал огня. Потом вдруг стало опять тихо и из всех трех зданий, вырвавшись наружу, как сильный и лишь на мгновение притихший поток, бойцы капитана Казакбая устремились на немцев в открытую атаку.

Нет, теперь он не жалел, что не предпринял этой атаки днем. Кто знает, как бы тогда повели себя немцы и какой бы они предприняли маневр, если бы он занял это здание не сейчас, а несколькими часами раньше. Пожалуй, они стали бы сначала бомбить, потом обстреливать из орудий, и только после хорошей порции такого огня начали бы лезть в атаку, штурмовать. И хотя это все равно будет завтра, или даже сегодня ночью, а верней всего на рассвете, все-таки он успел до наступления этого часа истребить у них не менее двух рот.

Казакбай вызвал к себе одного из офицеров и отправил его к командиру дивизии на другой берег Волги с донесением, что порученную ему задачу он выполнил и занимает сейчас весь перекресток.

\* \* \*

Когда в грохочущем здании разнеслась команда, которую Ботыр не то что услышал, а скорее почувствовал тем особым чутьем солдата, которое приобретается опытом боя, и сам повторил и передал дальше команду, чтобы прекратили огонь, когда где-то справа, у выхода, в темноте прозвучал знакомый голос:

„Вперед!.. За мной!“, показавшийся Ботыру удивительно родным и теплым, он схватил автомат, гранату и вместе с другими убежал на черный, во тьме, перекресток.

Он бежал в полный рост, не прячась и не пригибаясь. Группа немцев человек в шесть бросилась ему навстречу. Он кинул в них гранату и упал на асфальт, плотно прижавшись лицом к разбитому щебню и инстинктивно защитив голову локтем автомата. И в этот миг он почувствовал, как в груди его, плотно прижатой к асфальту, часто колотится сердце. Но он пролежал так всего секунду, а затем вскочил и начал с ожесточением расчищать себе путь автоматом. Перепрыгивая через трупы немцев или обходя их, когда они были навалены кучей, Ботыр широко и быстро шагал своими сильными большими ногами.

Он был уже недалеко от крыльца и пошел было на немцев влево, куда они начали отходить, когда кто-то, будто бы шутя, как чурку, быстро выбил у него из-под ног почву, и он упал. Он упал и пополз, принаравливаясь стрелять лежа и почему-то не пытаясь встать на ноги. Потом он вдруг заметил, что ползет, и хотел было встать, но нога опять подвернулась и он снова упал. Тогда, поняв, что он ранен, и в первую секунду почему-то сильно испугавшись этого, он снова быстро пополз к крыльцу. На площади еще шел бой, и Ботыр слышал в разных направлениях топот множества ног, стрельбу, стоны раненых в темноте, крики занимающих здание бойцов и какие-то еще неугадываемые звуки, не то шипение, не то сильный клекот или и то и другое вместе. Он видел, как у него над головой, расчерчивая небо светящимся золотым пунктиром, спокойно летела серия трассирующих пуль, точно кто-то, спрятавшись, пускал их одну за другой для забавы.

Один раз, заметив, как из окна штурмуемого нашими войсками здания прыгают, точно ныряют в темноту, немцы, Ботыр, забыв про свою раненую ногу и слегка переваливаясь на левый бок, начал их расстреливать из автомата. Немцы видели, что все, кто прыгал, тут же падали у окна мертвые, но им, видимо, некуда было деваться, и они все прыгали и прыгали из высокого окна во тьму, как в колодец, и Ботыр все стрелял и стрелял по ним короткими очередями, пока они не перестали прыгать. Потом, еще с минутку подождав, не станут ли немцы опять выпрыгивать, но так ни одного больше и не дождавшись, он снова пополз и только сейчас ощутил в ноге, ниже колена, такую жгучую, нестерпимую боль, что с трудом сдержал стон и стиснул зубы.

На перекрестке стало тише. Не было ни золотой трассирующей очереди над головой, ни той ожесточенной стрельбы вокруг, которая бушевала здесь минуту тому назад, ни тяжелого дыхания и хриплых возгласов, которыми сопровождается подобный бой. Только еще более явственно слышались в темноте стоны раненых.

Ботыр уже совсем близко подполз к крыльцу, когда вдруг в

стороне, в нескольких шагах от себя, услышал тяжелые частые стоны, временами переходившие в истошный вопль, причитания и крики. Ботыр оглянулся и, не задумываясь, пополз к этому стонущему человеку. И чем ближе он подползал к нему, тем все отчетливее слышал слова, которые раненый, причитая, проносил на родном для Ботыра языке. Он не удивился тому, что это был узбек, но с каким-то душевным волнением подумал, что этот голос, то стенающий, плачущий, то неистово и яростно проклиная жизнь, то взывающий о помощи, ему хорошо знаком. „Кто же это?“, — подползая, подумал Ботыр и сквозь темноту вглядывался в лицо и фигуру раненого. Тот лежал на спине, вверх лицом, устремив перед собой широко раскрытые глаза, и Ботыр даже сейчас увидел, что они были черные, и он узнал их — эти глаза, столько раз, бывало, смотревшие на Ботыра с ненавистью.

Ботыр подполз, глянул ему в лицо, и холодная изморозь прошла у него по плечам. Да, это был Кодыр-али! Он выкрикивал сейчас одни и те же слова:

— Вай она!.. Вай она!.. Почему тебя нет со мной?.. Почему тебя нет со мной?.. Утиши мою боль, сбереги мою кровь, не дай ей покинуть мое тело. Вай она!.. Вай она!..

Точно не веря себе, Ботыр приподнялся на локте и зачем-то посмотрел ему прямо в глаза. Кодыр-али вдруг перестал стонать, остановившимся взором глядя на Ботыра и, видимо, не узнавая его. Так секунды две они молча глядели в глаза друг другу, оба раненые, обессиленные и готовые вот-вот потерять сознание.

— Что у вас?.. — шопотом спросил Ботыр. — Кодыр-али!.. Слышите... Куда вы ранены?.. Вы узнали меня?..

Кодыр-али не отвечал. Глаза его были закрыты. Ботыр посмотрел на его мертвенно изменившееся смуглое лицо и сжатые губы, пододвинулся ближе и стал брать его себе на спину. В это время послышался тяжелый, быстро приближающийся клекот и свист, и не успел еще Ботыр решить, что надо сделать, как этот подвывающий свистящий клекот стал падать у него над головой. „На нас!“ — подумал Ботыр и крепко прижался лицом и всем телом к голому, ровному, холодному асфальту. И в этот страшный миг целый рой каких-то далеких и удивительно милых воспоминаний хлынул ему в душу, но почти одновременно Ботыр увидел, как что-то нестерпимо обжигающее, слепящее и огненное разверзлось перед ним с оглушительным громом и визгом, и все эти неясные воспоминания, не успевшие расцвести сейчас в его душе, померкли вместе с сознанием...

Продолжение следует.

СВЕТЛАНА СОМОВА

## ФЕВРАЛЬ

Ранняя февральская пора.  
Под окном дорожка просыхает,  
Черных кленов мокрая кора  
Голубые звезды отражает.  
Говорят, снега еще пройдут —  
Аистовый снег осыпет хлопья,  
Что на крыльях аисты несут,  
Возвращаясь в старые гнездовья.  
Лепестковым назван снег второй,  
Он слетит легко, как дуновение,  
Подморозив травы под горой  
И урюков розовых цветенье.  
Если снег — какая же весна?  
Снег зимой на землю прилетает...  
А любовь, — доверчивых она  
От меня очей не отрывает.  
И вокруг — от тропки до небес,  
В сквозняках, в борьбе теней и света,  
Предо мной, исполненный чудес,  
Яркий мир весеннего Ташкента.  
Черный клен вдыхает синеву,  
Узелки на ветках расправляя,  
Пробивает грязную листву  
Зябкая травинка молодая!  
Да, еще, конечно, будет снег,  
И невзгода будет, и ненастье.  
Но, чем больше стоит человек,  
Тем упорней борется за счастье.

## КАРМЕН

Рассказ

Вечером для депутатов Верховного Совета, участников первой сессии, давали оперу „Кармен“. Генерал Шукин подошел к своему месту, когда началась увертюра.

Опускаясь в кресло, он видел близко перед собой черную спину дирижера и его узкую белую руку, которая то высоко взлетала в желтом свете ramпы, показываясь из фразного рукава, то опять стремительно скрывалась в нем.

Занавес заколебался. Знакомый с юности музыкальный рассказ воскрешал перед глазами образы такими, какими они воспринимались когда-то, в молодости, во всей полноте красок и звуков.

В оркестре происходила борьба. Фронт бурных, мятежных звуков наступал на лирический мотив любви Хозе и Микаэлы. Свободная и бурная шла страсть, уже бушевало пламя под смычками скрипок...

В зале раздались аплодисменты.

Генерал Шукин огляделся. Справа и слева от него сидели знатные люди, съехавшиеся с разных концов республики для государственного совета. Многих из них он, наверно, знал когда-то, ведь он провел здесь свою молодость, и ему было приятно теперь, после многих лет разлуки, странствий и войн, видеть именно здесь, в кругу лучших людей республики, друзей своей горячей и далекой юности...

Молодые казались ему знакомыми потому, вероятно, что он видел их портреты. А, может быть, это были дети тех, кого он знал когда-то?..

Волнующее чувство охватило Шукина: он вспомнил молодость.

А в это время на сцене, на фоне синего безоблачного неба, разыгрывалась завязка повести.

Яркий южный ландшафт воспринимался тоже как родной и также вызывал дорогие воспоминания.

Рядом кашлянули. Генерал повернулся и при ярком свете, падающем со сцены, впервые пристально посмотрел на своего соседа.

Это был немолодой человек сильного сложения, с темным и мужественным лицом.

Шукин вспомнил, что видел этого человека издали на заседании сессии и слышал его выступление. Это был знатный колхозник, один из многих в народе, которые борьбой за хлопок внесли свой немалый вклад в дело великих работ послевоенной Сталинской пятилетки.

И странно: тогда, на трибуне, не это лицо, с черными, чуть-чуть тронутыми сединой усами, а именно голос выступавшего показался Шукину знакомым.

Человек этот был целиком поглощен происходящим на сцене. Окруженные паутиной светлых морщинок зоркие глаза его, не отрываясь, следили за каждым движением Кармен.

Она приближалась к рампе.

Вопреки традиции, вместо высокой сложной прически, увенчанной черепаховым гребнем, черные, туго сплетенные косы были уложены на ее маленькой изящной головке. И так Кармен выглядела проще и, казалось, была ближе к образу, созданному Меримэ. Это была Кармен — фабричная девушка, дочь свободолобного народа.

Легкий шопот пробежал по рядам, когда звучный и сильный голос произнес первые музыкальные фразы.

Голос вступил в строй оркестра и они, переплетаясь, плавно потекли вместе. И чем дальше, тем больше укреплялся образ Кармен. В трактовке роли была убеждающая сила обобщения. И вместе с тем было в этой Кармен что-то от тех женщин, которые кидали в огонь паранджу, отважно бросая вызов темным силам старого мира.

Шукин вспомнил, что партию Кармен сегодня исполняет молодая и очень талантливая дебютантка. Он нагнулся к соседу, чтобы спросить ее имя, но не решился. Тот сидел в напряженной позе, глаза его попрежнему были обращены к певице, но сейчас из них текли слезы. Генерал удивился.

В антракте Шукин хотел заговорить с соседом, но того уже не было. Тогда он развернул программу и пробежал глазами список действующих лиц.

Театральная и явно придуманная фамилия артистки ничего ему не сказала.

В фойе Кария, заслуженная артистка, старая его знакомая, подошла к Шукину.

— Ну, как Кармен, генерал?

— Хороша... Откуда вы достали такую певицу?

— Наша. С головы до пяток наша. И, представьте, еще недавно ничего не видела, кроме родного кишлака. Самородок.

— Какие таланты в нашем народе!

— Вот и смена нам, старикам, — сказала Кария, улыбаясь.



— Ну, не скромничайте,—также улыбнулся генерал.

Их окружили друзья, и все заговорили о молодой певице.

Возвращаясь в зал, Шукин увидел выходившего из-за кулис своего соседа, с растроганным и взволнованным лицом. Это еще больше заинтересовало его.

После третьего акта овации, как внезапная южная гроза, разразились в зале. Света не зажигали, с четырех сторон на сцену устремились лучи сильных прожекторов. В скрещении их стояла, кланяясь на все стороны и прижимая руки к сердцу, певица.

Букет цветов полетел на сцену. Актриса подняла его. Она подошла ближе к рампе, и Шукин увидел, как блестящие глаза актрисы, по-детски излучающие радость, встретились с глазами его соседа. В ту же минуту она бросила ему на колени красный тюльпан.

То, что произошло дальше, поразило Шукина. Сосед его не аплодировал, а сделал неожиданный и какой-то домашний жест: он любовно погрозил пальцем певице.

Повернувшись к Шукину, сосед вдруг спросил:

— Как она поет... Сурнай... а?

И тогда мгновенное воспоминание как бы обожгло Шукина...

По слову „сурнай“ или, может быть, по тому, как сложились губы говорившего, когда он произносил его, или по чувству, в это слово вложенному, но Шукин узнал его, он узнал Алима Усманходжаева! Да! Здесь не могло быть ошибки! Старый друг, брат... Это был он! Это был он, постаревший на двадцать пять лет.

И в короткие мгновения, наполненные тревогой, нарастающей в музыке, он вспомнил...

Как он был молод тогда! Каким молодым казался весь мир!

И Шукин увидел самого себя, каким он был двадцать пять лет тому назад...

В камышах, в час короткой передышки после боя, его окружала маленькая группа товарищей и бойцов, оторвавшихся от отряда...

— Человек на лошади приближается,—закричал дозорный.

По мало проезжей дороге вдоль арыка на худой лошаденке ехал старик. Он ехал шагом. Когда он был совсем близко,—послышался старческий скрипучий голос. Старик пел.

— Солнце близко к закату,—пел он,—я еду домой. Жена будет готовить добрую пищу. Я уже стар, кости мои ломают,—быть дождю. Во дворе под деревом сяду я...

Запыленные усы и борода, чалма из выпоревшего лоскута, бедняцкий халат, подпоясанный старым платком. Старик не испугался, когда его остановили.

— Да продлятся дни достойных родителей, родивших таких молодцов,—начал старик, и круглые лъстивые слова легко шли с его языка.—Теперь здесь нет басмачей поблизости. Шакалы Ибрагим-бека ушли далеко...

Старика отпустили. Издали было слышно, как он снова запел:  
— Я еду домой...

Шукин смотрел ему вслед. Вот он скрылся из виду.

Снова пустынная дорога, песок да яркое небо, по которому медленно бредет одинокое облачко, как заблудившийся в степи белый баран.

— Зачем отпустил старика?—тронул за плечо Шукина молодой боец Закир.

— Это безобидный старик. Мы не воюем с мирными жителями, Закир!

— Э... э, командир! Когда упустишь из капкана старую лису, береги свой курятник!..

Ночью басмачи большими силами напали на отряд. Шукин помнил короткий отчаянный бой и бешеную скачку в темной ночи. Потом было ощущение удара в грудь, и он вылетел из седла. Вероятно, при падении он потерял сознание. Когда очнулся, уже светало. Он лежал на песке под мгlistым небом. Серые дождевые облака неслись над ним.

Тревожной расцветной порой лежал на песке молодой командир. Хрипы собственного дыхания громко отдавались в его ушах.

Послышался скрип арбы. Как мучительно долго приближалась она. „Кто едет этой ранней порой по глухой неезженной дороге?..“ И Шукин, с трудом двигая пальцами, нащупал оружие...

Немного позже послышались человеческие голоса. На арбе с саманом было двое: мужчина и женщина.

Потом раздался третий голос,—это был пронзительный крик ребенка.

Арба остановилась, оба голоса умолкли. Только ребенок продолжал кричать на одной и той же высокой ноте... Шукин увидел смуглое лицо мужчины.

Мужчина сказал негромко:

— Ай, плохо, брат, грудь прострелил басмач!—И легко поднял раненого на арбу. Шукина накрыли чем-то и повезли.

От духоты и тряски он снова впал в забытие...

И потянулись тревожные дни. За дувалом маленького дворика ржали лошади, лаяли псы, гортанно кричали люди... Звуки приходили заглушенными в нишу, где за грудой старых одеял лежал раненый... Иногда он видел маленькую ручку, подававшую ему питье, но чаще около него появлялось мужественное лицо Алима.

Почти всегда кричал ребенок... Шукин однажды услышал, как жаловалась мать и как спокойно и добродушно отвечал ей отец:

— Пусть поет, как сурнай, наша Михри, ее крик заглушает стоны нашего гостя, когда болтливая соседка забегает к тебе посудачить. Пусть поет. Здорovый ребенок кричит, больной—молчит и чахнет... Пой, пой, мой сурнай...

Ночью, когда его освобождали из душного алькова,—он видел в открытые двери светлое небо, на котором четко вычерчивался замысловатый узор ветвей, повисших над дувалом, и

медленно плыл остроносый месяц, как маленький серебряный каюк...

Потом был такой вечер, когда Шукин уже сидел на низком пороге. Дворик был чисто выметен и полит; маленький арык журчал тут же. В углу двора в котле что-то шипело. Тени зыбились под листвою деревьев. В этот вечер командир почувствовал, что выздоравливает.

— Сегодня ночью придут твои товарищи, — шепнул ему Алим, — ты уже можешь сидеть в седле, а?

\* \* \*

В разгаре событий на сцене зрители второго ряда были немало удивлены неожиданными объятиями двух сидящих в первом ряду мужчин.

То были минуты радостной встречи, когда от полноты чувств немеет язык, а говорят глаза и руки — в крепком пожатии...

— А как Михри-сурнай? Ведь она уже взрослая, невеста, пожалуй? — вдруг спросил генерал.

Аплодисменты заглушили его слова.

— Михри? Сурнай? — Алим Усманходжаев удивился, глаза его снова обратились на сцену... Медленно полз вниз занавес, и на его пурпурном фоне, гибкая и стройная, вся в черных кружевах, стояла, кланяясь, Кармен...

— Михри... Сурнай?... Смотри, смотри на сцену, — вот же она!

А. ИВАНОВ

## УЩЕЛЬЕ

### I

Кошмой висела вековая мгла,  
И пахло хвоей векового леса.  
Упавшей ели тонкая игла  
В грудь упиралась желтого отвеса.  
Со дна низины,  
Где вода,  
Блестела, как руда,  
Ползли шиповников цветущие корзины.  
А по отвесу вниз невянущим узлом  
Мох прикрывал широкой трещины излом.  
Трава была от сырости мокра,  
И галька, как зернистая икра,  
Запаяна в кремнистые откосы.  
И только в полдень луч  
Ошупывал здесь косо  
Отвесы круч.  
Источник с крохотным теченьем  
Дрожал свеченьем,  
Бил бриллиантовою жилкой между скал,  
Где луч его истоки отыскал.  
Трещала в полдень старая арча  
Под тушею чугунной секача,  
По кособору узкою тропой  
Сходились кабаны на водопой.  
Напуганная пряталась змея.  
Скачки, толканье, хрюканье и визг,  
И в воду падали, звеня,  
Серебряные перстни брызг.

Из-под скалы гранитных бек  
 Однажды вышел человек.  
 Ступая мягко на истлевший  
 Лист,  
 Спугнув пичуги пролетевшей  
 Свист,  
 Друг водопадам, кряжам, облакам  
 Внимательно рассматривал бока  
 Закутанного мглой ущелья.  
 Казалось, в погребях земли  
 Искал он те таинственные щели,  
 Где клады залегли.  
 Усталый путник еле-еле  
 Брел.  
 За ним следил с высокой ели  
 Длинноголовый царственный орел,  
 С недобрим янтарем в очах,  
 Косая сажень в вскинутых плечах.  
 Раздвинув куст, увидел путник камень.  
 Другой такой же, брошенный веками,  
 С отвеса виснул.  
 Человек присвистнул  
 И, взяв его обоими руками,  
 Встал на колени, вынул молоток...  
 А через год рабочий городок,  
 С бараками, библиотекой, баней,  
 В ущелье вырос, на тропе кабаньей.

### **В АРАЛЬСКОМ МОРЕ**

Точно дым смолокурни наш черен баркас.  
 Море — ультрамарин, его гладь чуть жива.  
 Знойный вздох приаральских пустынь гонит нас  
 К побережью, где волны плетут кружева.  
 Где размытые солью проливы узки,  
 Где кустарник завязан ветрами в узлы,  
 Где пески шевелятся от мертвой тоски,  
 И сухие пространства великие злы.  
 Вдаль смотрел, на родной ему берег, казах,  
 Он, живой и веселый, вдруг будто застыл.  
 Я узнал, когда встретил глазами глаза:  
 Он — горячая капля из этих пустынь.

СЕРГЕЙ ВОЛГИН

## КОРОТКОЕ ЗНАКОМСТВО

Р а с с к а з

Я завтракал, сидя на сваленном дереве. На широком пне ординарец поставит миску супу, банку рыбных консервов и котелок с тушеной картошкой.

Солнце едва просвечивало сквозь густую листву деревьев, круглые светлые пятна на земле были неподвижны. Ни ветерка, ни стрельбы.

Вокруг, прямо на траве, лежали бойцы и ели суп из котелков с таким аппетитом, какой бывает только у бойцов. Возле них лежали винтовки, автоматы, вещевые мешки.

Я покончил с тушеной картошкой и стал закуривать, когда ко мне подошел незнакомый сержант и четко доложил, слегка коверкая русский язык:

— Товарищ капитан, прибыл в ваше распоряжение и еще два солдата. Сержант Алим Касымов.

Передо мной стоял огромный деган с невероятно широкой грудью. Его смуглое тонкое лицо и черные густые волосы говорили о восточном происхождении.

— Хорошо, — сказал я и подумал: „Вот такие ребята мне нужны“. Я подал сержанту руку, чтобы поздороваться, но тут же сморщился — мои пальцы были сплющены, как тискамы.

— Разве так можно? — сказал я, рассматривая свои сплюснутые пальцы.

— Извиняюсь. Немножко радость была, капитан руку дает, — смущенно проговорил сержант, тоже рассматривая свою широкую ладонь.

— Ну, ладно, — засмеялся я, глядя на сержанта снизу вверх, — Иди, знакомься с ребятами.

За несколько минут сержант перезнакомился со всеми солдатами, и ему немедленно пригасили два котелка супу. Он сидел на траве, по-восточному подобрав под себя ноги, ел еще с большим аппетитом, чем другие, и говорил:

— Я большой человек, кушать много надо.

Вокруг него собрались бойцы. Присел около сержанта на корточках и наш ротный силач Иван Захаров. Он с интересом рассматривал вновь прибывшего. Касымов тоже заинтересовался им, даже перестал есть; осмотрел сначала толстые короткие пальцы рук Ивана, потом перевел взгляд на его широкие покалеченные плечи и спросил, поспешно проглатывая непрожеванный хлеб:

— Ты палван?

— А это что же такое?— медленно, густым басом поинтересовался Захаров.

— Узбекистан знаешь?

— Слышал. Знаю.

— Вот. Большой силы человек. Бороться может. Понял? Палван называется. Вот.

— Понял. Борец, значит. Нет, я не борец, я кузнец из колхоза. Понимаешь?

— Ха! Я тоже кузнец, в колхозе работал.

— Вот здорово!

— Очень хорошо. Твое имя какое?

— Меня Иваном зовут. Иван Захаров.

— Меня — Алим. Давай будем знакомы.

— Давай.

Они долго жали друг другу руки, трясли до хруста в костях. Потом начали хлопать друг друга ладонями по коленкам, по плечам, громко выражая свое удовольствие.

— Отойдите, ребята, от них немножко, а то нечаянно заденет который-нибудь, и пойдешь в госпиталь,— пошутил молодой солдат, раскинув руки и делая вид, что хочет сдвинуть всех назад.

Вокруг засмеялись.

— Давай, Иван, бороться будем!— неожиданно предложил Алим.

— Правильно!— зашумели бойцы, предвидя развлечение.— Ну-ка, давай, кто поборет. Не дрефь, Ваня!

— Ну, зачем?— протянул смущенно Захаров. Но по всему видно было, что ему тоже хотелось померяться с Алимом силами. А Касымов уже поправил ремень и стоял, потирая руки от удовольствия.

— Давай, давай!— говорил он весело.— Сейчас той<sup>1</sup> будем делать.

Будто нехотя, медленно вышел из круга Захаров, немного зачем-то походил, положил на пенек пилотку и снова вошел в круг. Солдаты раздвинулись, расширили круг. Борцы взяли друг друга за ремни, пошире расставили ноги и заходили по полю. Две головы — белая и черная — тихо покачивались. Вдруг Алим подставил ногу, сильно дернул Захарова в сторону, и тот боком брякнулся на землю, взмахнув в воздухе длинными ногами.

<sup>1</sup> Той — празднество.

— О-о! А-а!— неистово закричали бойцы.— Вот так Алим! Молодец!

— Он обманул!

— Подножку нельзя!

— Можно! Можно!

— Чего нельзя? Тут все можно, это тебе не французская борьба!

— Подкачал, Ваня, подкачал.

Захаров поднялся, отряхнул рукой брюки и гимнастерку и попрежнему смущенно заговорил:

— Нет, обманывать нельзя, надо честно. Давай еще, теперь не проведешь.

А Касымов стоял подбоченясь, улыбался, снисходительно поглядывал на Захарова и весело подмигивал окружающим. Белые зубы его поблескивали, как фарфор.

Но вот борцы снова схватились. Они пятились то в одну, то в другую сторону, пробовали приподнять друг друга. Окружающие подзадоривали их выкриками, смешками, шутками. Полянка все более заливалась солнцем, и картина становилась живописнее. Касымов опять попробовал было свой прежний прием, борцы быстро затоптались на месте, но Захаров на этот раз не поддался и сам чуть не свалил противника. А напряжение зрителей усиливалось. Я и сам не меньше других был заинтересован этим веселым зрелищем, но все же не заметил, каким образом получилось, что ноги Касымова вдруг мелькнули в воздухе, повисели некоторое мгновение и плавно опустились. Касымов лежал на спине. Захаров выпрямился, вытер рукавом пот с лица и, поправляя ремень, застенчиво улыбнулся. Бойцы неистовствовали, многие бросились поднимать Алима, но он быстро вскочил сам, подошел к Захарову и подал ему руку:

— Твоя рука большую силу имеет. Ты палван. Друг будешь?

— Буду. Почему ж не быть?— растягивая слова, баском проговорил Захаров, и, обнявшись, новые друзья пошли отдыхать.

Весь день они не разлучались. Рассказывали один другому о колхозных делах, читали письма, даже кашу ели из одного котелка. Вечером нарвали травы, постелили на нее одну шинель, другой укрылись и захрапели на весь лес так, что дневальный ходил возле них и ругался:

— Как лошади. Еще беды наживешь с ними. Хорошо, что немцы далеко, не услышат.

Мы поднялись задолго до рассвета. Шли молча. Еще не рассветало, когда мы добрались до переднего края и залезли в траншеи. Разговоров в роте не было слышно. Перед наступлением каждый думал о своем.

С восходом солнца началась артиллерийская подготовка. Пахло порохом, в воздухе становилось все теснее от нарастающего гула. Солнце повисло над лесом красным раскаленным куском железа.



Но вот взвились разноцветные ракеты, фейерверками рассыпались над траншеями. Это был сигнал атаки.

Захаров и Касымов в атаку шли вместе, рядом. Большие, широкоплечие, они резко выделялись среди других солдат. Недалеко от них разорвался снаряд, вырвал кусок земли, расплылся, рассеял по воздуху. Солдаты немного пригнулись и побежали. Впереди была колючая проволока, разбросанная и разорванная во многих местах снарядами. За ней траншеи, а дальше домики села. Среди домиков еще рвались снаряды: вместе с дымом взлетали кирпичи, бревна, кое-где медленно валились деревья. Друзья прыгнули в траншею, за минуту до этого оставленную немцами, и некоторое время я не видел их со своего КП. По хлопкам рвавшихся гранат, по отдельным выстрелам можно было судить о том, что бой продолжался в блиндажах и землянках. Медленно шли назад раненые, иных несли санитары. Навстречу им бежали телефонисты с катушками. Рысью на паре коней провезли сорокопятку. Ездовой, низко наклонившись к седлу, крутил над головами лошадей плеткой. Справа за холмом шумели танки, там шла жаркая артиллерийская перестрелка.

Неожиданно я увидел, как Алим выпрыгнул из траншеи, с трудом вытащил оттуда Захарова, взвалил его на плечи и пошел ко мне, широко расставляя ноги. Длинные, тяжелые руки Ивана бессильно висели, ноги волоком тащились по земле. Касымов подошел к воронке, в которой я сидел, осторожно опустил на землю свою ношу, сел, подобрав под себя ноги, и, ни слова не говоря, закрыл лицо руками. Солдаты бросились перевязывать раненого в голову Захарова. Он был без сознания. А Касымов все сидел, чуть покачиваясь. Я заметил, как сквозь пальцы его побежали светлые струйки: он плакал. Раненого унесли, а он все сидел, что-то шептал, и в его позе было столько горя, что казалось: оно давит на эти могучие плечи и не дает ему подняться.

Вдруг он вскочил и странно посмотрел вокруг. Меня он не заметил. В левой руке он вертел, как тросточку, свою винтовку. И мне казалось, что винтовка вот-вот хрустнет и переломится у него в руке. В это время боец подвел ко мне двух пленных немцев. Алим, нагнув голову, широкими шагами подошел к ним и молча поднял над головой одного из них свой огромный кулак.

Боец закричал:

— Ты чего здесь воюешь?! Иди вон где их бей!

Алим опустил руку, посмотрел на бледного, трясущегося немца, потом поднял глаза на бойца и вдруг бросился бежать к деревне. Он делал огромные прыжки, размахивая руками и винтовкой. Я только сейчас заметил, что на нем не было пилюльки, а гимнастерка на спине была темна от крови.

Боец покачал головой.

— Обиделся очень человек...

У самих домиков залегли наши. Немцы били из подвалов

через узкие, специально прорезанные, щели, огоньки выскакивали из амбразур, как лезвия окровавленных кинжалов. Немцы стреляли теперь только по Алиму. А он бежал, не обращая внимания на пули, хотя они кружились и жужжали вокруг него, как пчелиный рой. Но так как он то и дело обегал воронки, перепрыгивал окопы, отчего казалось, что он мечется из стороны в сторону, в него, видимо, было трудно попасть. Вот он уже поравнялся с солдатами, вот обогнал их и еще быстрее побежал к домикам.

— Ребята, ур-ра! — закричали бойцы и бросились вслед за Алимом.

Когда Алим достиг передних домиков, из одного из них выскочил немец в каске, оторопело остановился, но даже не успел поднять рук. Алим размахнулся винтовкой, ударил немца по голове и побежал дальше.

Выкуренные из домиков гранатами немцы вылезали из всех щелей, но на них тут же обрушивались страшные удары приклада.

Когда через несколько минут все было кончено и по улице не пробегал больше ни один немец, Алим встал посреди небольшого дворика и спокойно осмотрелся, как славно поработавший хозяин.

То тут, то там валялись трупы врагов.

К Алиму подошел боец и с глубоким уважением, с той солдатской простодушной нежностью, которая иной раз даже постороннего человека прошибает до слез, сказал:

— Алим... Алим-палван! Ты здорово дрался, друг. Пойдем, тебя перевязать надо.

Я шел им навстречу, глядел на могучую богатырскую фигуру Алима и думал: „Сколько у нас таких золотых парней с нежным сердцем ребенка и с львиной волей“.

## ВСТРЕЧА

Бывало, мальчик часто по утрам  
Шел за село к высокой старой ели.  
Он ждал не писем и не телеграмм,  
Он ждал солдата в серенькой шинели.  
Он долго не спускал с прохожих глаз,  
С тоской их провожал в степные дали.  
Он у военных спрашивал не раз:  
„А папу моего вы не видали?“  
И отвечал служивый: „Нет, дружок,  
Да и не всех усмотришь-то в сраженьи“.  
И, опершись рукой на подожок,  
Спешил к себе в соседнее селенье.  
И как-то раз, свернувши с большака,  
Спускаясь к речке по холму крутому,  
Шел человек, прихрамывая слегка,  
Шел напрямик к Васяткиному дому.  
И мальчик вновь остановил бойца  
И вновь сказал ему: „Скажи, прохожий,  
Ты не встречал ли моего отца,  
Солдат он тоже, на тебя похожий!“  
„Нет, не встречал! А чей ты будешь сам?“  
„Я внук Степановны!“ Столпились вокруг ребята.  
И покатались слезы по щекам,  
Сухим, обветренным щекам солдата.  
„Ты внук Степановны! Васятка, милый мой,  
Мой сын, мой ненаглядный соколенок.“  
И на руках понес его домой,  
И зарыдал от радости ребенок.

Но и сейчас Васятка за село  
Порою ходит к той заветной ели,  
И на сердце у мальчика тепло,  
Когда он видит путника в шинели.

## ЖУРАВЛИ

В проталинах подснежники цвели,  
И ветерок шумел в лесах знакомых.  
В такую пору прилетают журавли,  
Неся на крыльях белый цвет черемух.  
Бывало, пролетая за ветряк,  
Они в луга садились чередою.  
Но в эту весну ни один косяк  
Не пролетал еще над полем боя.  
Дымилась исковерканные рощи,  
Неслись в атаку танки по лугам.  
В тот день мы всей своей стальной мощью  
Отбросили назад полки врага.  
И в час рассвета на родных долинах,  
Чуть ветерок развеял битвы дым,  
Мы уловили окрик журавлиный  
Под восходящим солнцем золотым.  
Мы в синь глядели, зренье напрягая,  
Мы вожака заметили вдаль.  
Веселым криком рощи оглашая,  
Весну несли на крыльях журавли.  
Журавушки, с весною вас погожей,  
Вы на помине скоры и легки!  
И каждый был взволнован и встревожен—  
Как бы не сели к немцам косяки.  
В руках врага бескрайние болота.  
Заметил гнезда прежние вожак  
И, сделав два крутые разворота,  
Стал опускаться к ворогу косяк.  
С тоской смотрели мы на приземленье.  
В окопах сразу стала тишина.  
Как будто проиграл сейчас сраженье,—  
Сидел на пне угрюмый старшина.  
И кто-то крикнул: „Мчитесь к нам скорее!“  
И кто-то молча вытер пот со лба.  
В тот миг проснулись вражьи батареи,  
И началась горячая стрельба.  
И, высоту поспешно набирая,  
Косяк стремглав помчался от врага.  
И, снова пролетев над нашим краем,  
Спокойно сел в широкие луга.  
В проталинах подснежники цвели,  
И ветерок шумел в лесах зеленых.  
К нам в гости прилетели журавли,  
И принесли на крыльях цвет черемух.

МИХАИЛ БЫКАДОРОВ

## КУЗНЕЦ

Уезжал на фронт—боец.  
А пришел домой—кузнец.

Получил приказ в конторе —  
Без препятствий, без помех —  
И без лишних разговоров  
Держит путь в знакомый цех.

Поглядел ревнивым взглядом  
На работу кузнецов;  
Видит—дружная бригада,  
Тоже как бы из бойцов.

Говорит:  
— Здорово, братцы!  
Братцы видят—фронтовик:  
— Что ж, опять за дело браться?  
— Я без дела не привык.

Улыбнулся:  
— Я в походах  
Молотка не поднимал;  
Я о нем четыре года  
Беспрестанно тосковал.

Шумным жаром дышит горно,  
Клещи в горно—носом черным,  
Розовеет от накала  
Плаха крепкого металла.  
Сбросил куртку—и сразмаху  
Молотком колотит плаху;  
Как ударит,  
Как приварит—

Искры мечутся кругом,  
Молоток чечётку жарит  
И кокошет петухом;  
Ляжет набок, толнет пяткой,  
Зазвенит на сто ладов,—  
Так и кажется—вприсядку  
Сам кузнец пойти готов.

Ходят руки, ходят плечи,  
Плахи стонут и дрожат...

Замечает—скоро вечер,  
Значит, надо поднажать;  
Поднажать по-фронтному,  
Поднажать по боевому,  
Не ударить в грязь лицом  
Перед младшим кузнецом!

Он хотя еще и молод,  
И хотя еще безус,  
Но держать умеет молот,—  
Он в работе знает вкус.

— Ты, парнишка, замечаю,  
Из семьи мастеровых?  
Тот охотно отвечает:  
— Из резервов трудовых!

...Машет горно красной гривой,  
Бьет кузнец без перерыва;  
Бьет с оттяжкой,  
Бьет сплеча —  
Наковальня горяча.

Вертит жалом—как оса —  
Раскаленная коса.

Он кует без остановки;  
Не забыл былой споровки,  
Трудовой гвардейской хватки.  
Все—как прежде.  
Все—в порядке!

Уезжал на фронт—боец.  
А пришел домой—кузнец.

ДМИТРИЙ ЗАХАРОВ

## ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

### 1. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ

Вы помните, майор,  
Наш бой последний, жаркий,  
Как мы  
Сто раз меняли рубежи,  
Когда вас, раненого дважды,  
Санитарки  
Пытались на носилки уложить.  
Бой нарастал.  
Нам приходилось круто,  
И дрался  
За троих из нас любой.  
Мы выстояли  
Долгих трое суток—  
И выиграли  
Беспримерный бой.  
Из пепла мы вставали  
И казалось—  
В последнем этом,  
Яростном бою,—  
Что смерть от нас, отпрянув,  
Отказалась,  
Над нами силу потеряв свою.  
Я не забуду,  
Как наводчик, с фланга,  
Сказал бойцам:  
— Я жить хочу, друзья!  
И вдруг рванулся  
К вражескому танку,  
Единственной  
Гранатою грозя.  
Да, умирать

Мы не имели права.  
Чтоб грозное  
Отмщение довершить,  
Чтоб мир опять  
Воспрянул, величавый,—  
Нам жизнь тогда приказывала—  
Жить!  
И в памяти  
Разматывая ленту  
Суровых дат,  
(Их не одела пыль),  
Мы сами вспоминаем,  
Как легенду,  
Свою живую,  
Боевую  
Быль.

1947

г. Ташкент

## 2. ГОЛОС НАРОДА

Над родиной  
Мирные будни лазурны.  
И множатся стройки,  
Вздымая леса.  
Мы все в этот день  
К избирательным урнам  
Идем—  
За достойных отдать голоса.  
За тех,  
Кто в суровую нашу годину  
Сквозь ливни  
Свинцовых и огненных гроз,  
В Хинганских отрогах,  
К немецким твердыням  
Победы  
Бессмертное знамя пронес.  
За тех,  
Кто в забоях,  
Полях и заводах  
На вахты, как воин,



Бессменно вставал;  
Во имя возмездья,  
Во имя народа—  
Для боя  
Оружье Победы ковал.  
За тех,  
Кто сегодня  
В свой труд величавый  
Вложил и отвагу и ловкость  
Бойца,  
Чтоб родина крепла,  
Шагала со славой  
Широкой дорогой  
Народа-творца.  
За то,  
Что над родиной  
Будни лазурны,  
И множатся стройки,  
Вздымая леса,  
Отчизна  
Идет к избирательным урнам—  
Отдать  
За достойных свои голоса.

Февраль, 1947 г.

Ташкент.

А.А. ШМАКОВ

## Г О С Т И

Б ы л ь

Полудугой лежат снежные Агалыкские горы. Хребты их поблескивают под скупыми лучами солнца. Контуры вершин отчетливо проступают на синюющем небосводе. Хребты, как стеной, отгораживают равнины Узбекистана. По ту сторону лежит Таджикистан—страна гор и вечных снегов.

Вьючные тропы, что теряются в тесных ущельях и взбираются на светлые спины хребтов, издавна соединяют эти земли. Нет хороших проезжих дорог в этом месте. Молчаливо стоят седые громады камня, но свежие следы отпечатаны по чистому снегу.

С гор, от Пянджикента, спускались два оживленно беседующих всадника-таджика.

— Найдем ли?—спрашивал один.

— Узнаем,—отвечал другой.

Притороченные к седлам походные сумки их были пусты. Взмывленные лошади устало брели по мягкому, как хлопок, снегу. Видно, ехали всадники издалека.

Фиолетовые тени Агалыка ползли на равнину. Зазолотились каемки бесконечных хребтов. С нижней террасы горы открывался широкий вид. В дымке сизых оголенных садов виднелись кишлаки.

Дорога петляла среди виноградников, старательно укрытых еще с осени землей, пересекала сиротливые арыки с мутной и сонной водой. В ней не было живости, блеска, игры красок ослепительно-лазурного летнего неба. Все было погружено в крепкий зимний сон: и поля, и сады, и тихие реки с лениво текущей водой. Отдыхала земля и в зимнем отдыхе набирала силы.

Всадники окидывали взглядом колхозные поля и скупо обменивались мнениями. Утомленные за дорогу, они были нетерпеливы: скорей бы конец пути.

— Найдем ли?—снова усомнился Бобо Камбаров.

— Узнаем!—уверенно сказал Абдулфайзи Ахмедов, подмигнув товарищу.—У кировцев своя гидростанция...

Путники приближались к одному из кишлаков, окруженному густыми садами.

Быстро сгущались сумерки. В домах вспыхнуло электричество и сразу осветились все кишлаки. Маяющие огоньки словно приветствовали путников.

Абдулфайзи остановил лошадь. Он недоуменно вскинул руки.

— Узнал?—насмешливо сказал Бобо Камбаров и язвительно добавил:—Найди-ка теперы!—Он рассмеялся, довольный тем, что Ахмедов ошибся.

Они въехали в тесную и грязноватую улочку кишлака. Запахло лепешками.

Им повстречался мальчуган на ишаке.

— Спрашивай,—напомнил Бобо.

Ахмедов покачал головой, но спросил.

— Кировцев не знаете?—изумился мальчуган. Он важно махнул рукой: „Вон там“,—и поехал дальше.

— Вот так узнал!—Бобо заразительно рассмеялся.

Потом им повстречался обоз. На этот раз к возчикам обратился Камбаров. Это были кировцы. Они возвращались домой с тяжело и устало скрипящими арбами. Камбаров задорно прищелкнул пальцами и повернулся к Ахмедову. Что выражало его лицо, Ахмедов рассмотреть не мог.

Абдулфайзи приободрился и спросил возчиков, желая сгладить свою вину перед товарищем:

— Что везешь, уртак?

— Навоз.

Ахмедов подумал, что ослышался. Зачем в кишлак везти навоз?

— Нету своего, что ли?

И паренек с достоинством отчеканил:

— Покупной. Из города. План удобрений перевыполняем,—и недоуменно спросил:—А вы не гости?

Выругав товарища, Бобо торопливо сказал, что они едут к председателю колхоза по важному делу.

— А-а!—протянул понимающе возчик и рассудительно добавил:—Гости всегда дивятся. Смешно навоз из города возить. А если надо, как тут быть?

Абдулфайзи натянул повод уздечки. Он свернул чуть в сторону.

— Езжай ты первым.

Бобо ничего не сказал. Он подстегнул коня камчой и обогнал Ахмедова.

Они подъехали к дому с большими освещенными окнами.

— Наше правление.

— Рахмат!—поблагодарил Бобо. Они слезли с коней, привязали их к дереву и быстро направились к крыльцу.

Они переночевали в колхозной гостинице. Ахмедов долго не мог уснуть. Он разглядывал большие ковры, придающие уют и теплоту комнате, и раздумывал о том, что неплохо было бы и им в своем колхозе иметь такую гостиницу.

С первыми проблесками утреннего света Абдулфайзи был на ногах. Сначала он рассматривал кишлак из окна. Окутанный голубоватым дымом, кишлак еще спал. Слева, за густоветвистыми карагачами, на просветлевшем небе ажурно проступали строения. Он не мог еще знать, что кировцы строили общественные здания и дома для колхозников.

Новостройки казались отпечатанными, как рисунок на большом листе синеватой чертежной бумаги. Перед ним была панорама колхозной стройки. На переднем плане ее поднимался огромный силуэт памятника Кирову. Сергей Миронович будто слегка подался вперед на высоком пьедестале и вскинул руку навстречу дню.

Ахмедов вышел. Воздух был по-зимнему прохладен и по-весеннему свеж. Где-то мычали коровы, блеяли бараны, горланили петухи.

Кишлак просыпался. Требовательная жизнь его начиналась с этих, с детства знакомых и привычных звуков. Постепенно в эту будничную симфонию утра влились сначала скрип дверей и калиток, потом постукивания жестяными ведрами и плеск воды у хауза. Послышались голоса и смех. Ударил молот о наковальню. Зазвенело железо в кузнице.

Трудовой день начался. Абдулфайзи с радостью отметил это дружное начало дня, с утра заполненного заботами и артельным трудом, эту живую и вдохновенную работу колхозников. Он немножко постоял во дворе, вслушиваясь и всматриваясь в жизнь кишлака, и снова вернулся в комнату.

— Вставай! В этом колхозе долго не спят,—сказал он Бобо Камбарову, который все еще лежал на кровати.

— О-о,—протянул Камбаров,—я не узнаю тебя...

Вскоре заглянул чайханщик. Он принес на поблескивающем медном подносе виноград, лепешки, чайник и пиалы. Почтительно погладив реденькую бороду, он раскланялся и вышел. После завтрака прибежал мальчик. Он сказал, что раис Бурханов просит гостей к себе. Их приглашал председатель колхоза. Камбаров ухмыльнулся и поправил на себе полосатый чапан, ошупал лежавший в поясном платке договор на соревнование с кировцами.

Председатель Бурханов, человек внушительного роста, в черной с белыми узорами тюбетейке, встретил их радушно. Он познакомил гостей с сухошавым, усатым, в темном халате мужчиной. Это был секретарь колхозной парторганизации Рустамов. Потом председатель спросил, как спалось гостям, пили ли они

чай, испробовали ли виноград, отведали ли лепешек. Бобо и Абдулфайзи благодарно склонили головы.

— С чего же начнем?

Председатель ждал ответа, готовый сделать все, что пожелают гости. Бобо поглядел на Абдулфайзи. Тот моргнул глазом: мол, начинаем. Камбаров спросил о людях, чьими руками добыта колхозная слава.

Бурханов присел на кушетку, вместе с гостями.

— Без умелого труда и плова не сделаешь,—начал он подвошь.

Абдулфайзи слушал его и рассматривал все, что было в председательском кабинете. На стенах висели диплом первой степени и свидетельство участника сельскохозяйственной выставки, телеграммы товарища Сталина с благодарностью колхозникам. Ахмедов не утерпел. Он встал, чтобы познакомиться с документами почета и гордости кировцев.

Сталин благодарил колхозников за собранные деньги на строительство танковой колонны „Колхозник Узбекистана“. Главвыставком награждал колхоз за высокий урожай винограда в 155,08 центнера с гектара на площади в 66 гектаров.

— А теперь?—Абдулфайзи повернулся к Бурханову.

— Виноградников у нас больше и урожай выращиваем выше. Сняли по 166 центнеров с гектара...

Бобо удовлетворенно покачал головой.

Большой урожай получили кировцы также и по овощам, картофелю, хлопку.

Камбаров спросил про план. Кировцы по овощам перевыполнили его в два, а по другим культурам—почти в полтора раза.

Бурханов сказал, что на душе всегда делается легче, когда с государственным делом справишься, и спросил, в свою очередь, рассчитались ли они с государством и как живут ура-тюбинские колхозники.

Камбаров ответил, что с госпоставками они справились. Колхозники в Ура-Тюбе живут средние, но уже с нового урожая жить будет лучше.

Время шло незаметно. В комнате несколько раз появлялся мальчишка, тот, что прибежал утром в гостиницу. Он приносил чайники с зеленым чаем, кишмиш и горячие лепешки.

Абдулфайзи пил чай с наслаждением. Он сидел раскрасневшийся, сияющий, часто вскидывал взгляд на большой портрет Кирова. Сергей Миронович, читающий „Правду“, на портрете был изображен как живой. Казалось, он отложит сейчас газету и что-нибудь спросит про колхозные дела.

Бобо поинтересовался трудоднями. Он вникал в самую глубь колхозной жизни, как хозяин. Если надумали соревноваться с кировцами, так надо знать все. Бурханов позвал бухгалтера. Явился низенький, пожилой мужчина в роговых очках, с остроотточенным цветным карандашом за ухом.

— Можем ответить,—сказал он спокойно.

Бухгалтер присел к столу и раскрыл аккуратно зашнурованную папку.

— На трудодень выдано...

Он стал перечислять килограммы кишмиша, картофеля, овощей, зерна, винограда, вина...

Абдулфайзи прикинул: что же это составляет, к примеру, на одну семью колхозника, выработавшего тысячу трудодней в году? Получилось очень внушительно. А бухгалтеру хотелось побольше назвать цифр. Он без умолку говорил. Ахмедов запомнил две цифры—по дополнительной оплате кировцы получили 140 тонн продуктов и 72 тысячи рублей...

Он машинально потер руки, выражая этим свое удовлетворение, и поднял голову. Ему показалось, что Киров, с любопытством подслушивающий их разговор, довольно улыбнулся и вновь углубился в чтение газеты.

Абдулфайзи сказал:

— Хоп!—и чтобы проверить, не ошибся ли он, высказав похвалу, спросил о количестве колхозников и быстро подсчитал, сколько получит дополнительно каждая семья.

Позвонил телефон. Председатель поднялся и взял трубку. Бурханову напомнили, что сегодня у него встреча с избирателями. Он был выдвинут соседними колхозами кандидатом в депутаты Верховного Совета республики.

— Надо поехать раньше,—кладя трубку, сказал он,—посмотреть, как готовятся к весне. Может, придется помочь...—и обратился к Рустамову:

— Хамдам, с гостями займешься ты...

Бухгалтер, на время прервавший свою повесть в цифрах, возобновил разговор:

— Задержу ваше внимание на выразительной цифрочке...

Он так и назвал ее—ласкательно, как живое существо, вкладывая в это слово столько нежности, как если бы держал на руках младенца и рассказывал об его рождении.

— Минуточку... Общий доход колхоза...

Бухгалтер поднял указательный палец вверх.

— Пять миллионов рублей!

Он торжествующе сдвинул очки на лоб. Глаза его заблестели. Он повторил величественную цифру, как полководец, только что одержавший победу. Он видел за цифрами живые дела и труды рук колхозников.

— Энтузиаст!—сказал про него Рустамов, когда бухгалтер, прижав свою папку к груди, вышел из кабинета.—За колхозную копейку горой стоит. Смету сейчас составляет. Разворачиваемся со строительством...

Чтобы не быть голословным, Рустамов открыл шкаф и достал свернутый в трубку лист плотной бумаги. Он развернул его и положил на стол. Это был генеральный план строительства колхоза. Выполнение его приостановила война. Удалось построить только общественные помещения. Теперь, после пяти

лет, вновь приступили к стройке. В прошлом году возвели образцовые хозяйственные объекты. На очереди были дома колхозников и реконструкция кишлака.

Гости внимательно рассматривали генеральный план. То, что видели они сейчас, неузнаваемо преобразалось в этом пятилетии. Воздвигался дом специалистов, общежитие. Тесные узенькие улочки кишлака превращались в широкие проспекты, похожие на городские. И они верили—через пять лет это будет у кировцев явью.

Вечером Бобо и Абдулфайзи были в клубе. Они смотрели кинокартину. Такой клуб украсил бы их районный центр. После кино Рустамов проводил их до гостиницы. Когда они остались одни, Бобо спросил:

— Ну, как?

— Мечтал—восторженно ответил Абдулфайзи.

Камбаров не разделял его восторга.

— Не мешает походить по задворкам,—он хитровато прищурил глаза,—оттуда виднее бывает...

Абдулфайзи вспыхнул и нагрубил товарищу. Они заспорили. И неизвестно, сколько бы длился их спор, если бы в эту минуту неожиданно для них не заговорил репродуктор. Колхозный радиоузел передавал избирательную хронику. Диктор рассказывал о встрече Бурханова с избирателями.

Они прослушали сообщение и забыли о своем только что вспыхнувшем споре. Какое-то неизъяснимое чувство охватило их в эту минуту. Было оно выше всего житейского и наполняло сердца светлой радостью. Так бывает с людьми, когда они в полуденную жару знойного лета, томимые жаждой, вдруг очутятся возле холодного и прозрачного родника и, обрадованные, припадут устами к его живительной влаге. Сейчас они были у источника славы, рожденной трудом.

С чувством, похожим на огромное счастье, они легли спать и оба сразу крепко заснули.

Последующие дни прошли в осмотре хозяйства. Они побывали на гидроэлектростанции. В чистом, небольшом помещении гудел генератор. Электромонтер объяснил гостям все, что их интересовало. Станция обслуживала не только свой колхоз, но давала ток соседним кишлакам и районному центру. Бобо вспомнил про ошибку Абдулфайзи в день их приезда. Намекая об этом товарищу, он похлопал себя рукой по лбу. Ахмедов поморщился, но ничего не сказал.

Они посетили колхозную школу-десятилетку, поговорили с учителями. Им рассказали, что пять выпускников школы уже студенты Государственного университета. Заглянули гости и на медпункт.

Довольный всем, Абдулфайзи открыто восхищался, а Бобо все чего-то искал, не находил и попрежнему не разделял восторга товарища.

В последний день они осматривали вновь отстроенную меха-

ническую мастерскую. Придирчивый и острый глаз Бобо заметил неотремонтированные арбы и валяющиеся кетмени.

— Ого, тут, кажется, я поживусь,—шепнул он Ахмедову. Накануне они беседовали с бригадирами и те заверили—инвентарь готов к весне.

В мастерской у токарных станков и возле горна напряженно работали люди. Пылало пламя. Тяжело дышали кожаные меха. На верстаках и наковальне звенело, скрежетало и гремело железо. Этот обычный шум мастерской еще больше насторожил Камбарова.

С гостями на этот раз был Рустамов. Они успели сдружиться с секретарем и обращались друг к другу запросто.

— Значит, у вас все готово к весне, Хамдам?—спросил Камбаров.

— Давно,—ответил тот, не подозревая подвоха.

— Ай-яй!—воскликнул Бобо,—нехорошо так говорить!—Он взял Рустамова за руку и подвел к неотремонтированным арбам.

— Так это же чужие. Комсомольской МТС помогаем ремонтировать,—пояснил Рустамов. Он догадался, почему Бобо спросил об этом, и дружелюбно похлопал его по плечу.

Камбаров обернулся, чтобы посмотреть, не слышал ли кто их разговора. В дверях мастерских стоял Абдулфайзи. Он легонько постучал рукой по косяку, потом похлопал себя по лбу. Этого было достаточно. Камбаров понял, что тот все слышал. Спеша предупредить злоязычие товарища, он шутливо бросил:

— Твое взяло, Абдулфайзи.

Рустамов удивленно пожал плечами. Бобо объяснил ему все. Они посмеялись и направились к гостинице. Там гостей ждали бригадиры и колхозные звеньевые. Они о чем-то оживленно и горячо говорили. По отрывочным суждениям Камбаров уловил: они беседовали о гостях. Он обвел глазами сидящих. О чем они могли говорить? Лица всех были добродушно-открытые и приветливые.

При появлении гостей Бурханов поднялся. Улыбаясь, он указал рукой на стол, уставленный колхозными яствами.

— Узбеки говорят: если год начинается праздником, осень будет богатой и счастливой...

Гости заняли за столом почетное место в кругу кировцев.

Камбаров был окончательно побежден. После нескольких стаканов многолетней выдержки вина душа его не вытерпела:

— Думаем соревноваться с вами...

Рустамов, сидевший рядом с ним, лукаво прищурил глаза.

— Обогнать захотели?

— Таджики говорят: у доброй славы—широкий путь,—уклончиво ответил Бобо. Он достал припрятанный в поясном платке договор...

Все принялись горячо обсуждать его.



М. КИСЕЛЕВ

## В ПЕСКАХ

О черк

Вторые сутки лейтенант Орлов с красноармейцами Порошиным и Гусевым ждали машину у колодца Бугдайли.

Полевые материалы, инструменты и имущество — все было давно уложено и тщательно упаковано.

Тяжелая работа окончена. Шесть месяцев проведено в пустыне на жаре. Теперь автомашина должна была вывезти топографов через пески Сорчали к станции Айдин.

Но машина почему-то запаздывала. Порошин уже несколько раз забирался на самый высокий бархан и подолгу осматривал горизонт.

Томительное чувство ожидания передавалось даже жителям аула. У юрты сидели туркмены-иомуды и спорили — придет к вечеру „автобус“ или не придет.

Старик Джума-Гельдыев, качая головой, говорил:

— Машина не верблюд. Ей по пескам итти тяжело. Верблюды надежнее.

И в сотый раз рассказывал слушателям историю о том, как он прошел на верблюдах пески от Красноводска до Кумыштепе — шестьсот пятьдесят километров — и ни разу с ним ничего не стряслось.

Орлов плохо слушал старика. Его все сильнее тревожила мысль о машине. Надо было спешить: Гусев страдал малярией и лежал почти в беспамятстве, с высокой температурой. А машины все не было и не было.

Только вечером, когда над аулом начал стелиться дым от костров и спустилась прохлада, слышались частые автомобильные гудки, и из-за бархана, тяжело переваливаясь через песок, выехала полуторатонка.

Из кабинки прямо в объятия обрадованного Орлова выпрыгнул старший лейтенант Глинский. За ним, устало и радостно улыбаясь, показался шофер Багрицкий.

... Взяв направление на восток, немного левее видневшихся вда-

ли минаретов разрушенного древнего города Мессариан, машина ползла по волнистым грядам закрепленного травой песка.

Несколько раз Орлов невольно поглядывал из кабинки в ту сторону, где за барханами скрылось селение Бугдайли. Перед глазами все еще стоял старик Джума-Гельдыев с группой колхозников, пришедших проводить Орлова и его товарищей. Прощально помахивая руками, они кричали вслед отъезжавшим топографам: — Аман булинг! Аман булинг!

И вот уже час, и второй и третий едут они по пескам. Солнце давно перевалило через зенит. Жара начала спадать. До такыра осталось не более трех километров. Освещенная солнцем солончаковая поверхность его, уже видневшаяся вдаль, блестела, создавая впечатление озера.

Обогнув бархан, машина неожиданно остановилась. Остановка показалась как нельзя кстати — ноги у людей затекли без движения.

Пока шофер возился с мотором, Глинский и Орлов проверяли пройденный путь. От Бугдайли отъехали 85 километров — осталось еще 135. Заглянули в бочку с водой. От запасенных на месте восьми ведер осталось меньше половины, — в пути раз за три приходилось подливать воду в радиатор.

Через полчаса Багрицкий доложил старшему лейтенанту, что в машине есть существенная неисправность. Необходимо было затратить часа два для тщательной проверки и ремонта.

Делать нечего, пришлось вооружиться терпением и ждать.

Беспокоило только то, что в бочонке все меньше и меньше оставалось воды. Багрицкий поспешил успокоить всех, что ночью для машины воды понадобится очень немного, к тому же путь по такыру будет значительно легче.

Часа полтора тщательно осматривали мотор, но никаких неполадок не нашли, а зажигание не действовало.

Багрицкий совсем потерял голову в поисках дефекта.

Время шло. Солнце скатывалось к горизонту. Песок остывал. Надвигалась темнота.

Измученный вконец Багрицкий, вытирая тряпкой замасленные руки, заявил, что в темноте ничего нельзя сделать и лучше оставить все до утра. Утро вечера, де, мудренее.

Но и утро ничего утешительного не принесло.

Выяснилось, что за ночь разрядился аккумулятор. Машина дальше итти не могла. Что делать?

— Надо искать выход, — сказал Глинский. — Что предлагаешь, товарищ Орлов?

— Придется итти до станции пешком, чтобы доложить по телеграфу о случившемся командованию.

— Да, единственный выход, — согласился Глинский. — Но прежде всего никакой паники. Двое пойдут пешком на станцию Айдин, оставшиеся ждут помощи. До ближнего источника воды восемьдесят пять километров, до пункта связи сто тридцать пять. Помощь может оказать только самолет.

— Товарищ старший лейтенант, воды мало, — произнес Порошин.

— Оставшиеся терпеливо ждут, — еще раз подчеркнул Глинский. Все замолчали.

— Я иду, — заявил Орлов. — Паши, товарищ Багрицкий, какие части нужно доставить для машины.

— И я иду, товарищ лейтенант, — сказал красноармеец Порошин.

Через полчаса сборы были окончены.

Четыре литра воды в брезентовых турсуках, две винтовки, наган, сумка с документами и полевыми материалами, полпачки махорки, шестьсот граммов галет.

Орлов и Порошин переобулись, выпили по кружке воды и молча пожали всем руки.

— Ну вот, дружище... — произнес Глинский и тепло и пристально посмотрел Орлову в глаза. — Тяжелый путь предстоит вам с Порошиным. Может быть... Впрочем, не мне тебя учить. Счастливого пути!

Гусев на миг приподнял голову, но тотчас же опять бессильно уронил ее на песок. Болезненная гримаса искривила его лицо.

Орлов взглянул на больного, и ему показалось, что Гусев посмотрел на него с упреком, что он все еще медлит, не уходит.

Не оглядываясь, он быстро зашагал, держа путь на север.

Глинский долго смотрел вслед уходящим товарищам.

Две удаляющиеся фигуры стали причудливо расплываться в знойном мареве и наконец скрылись.

„Как они дойдут?“ — с беспокойством подумал Глинский.

\* \* \*

По ровному, как стол, такрыу идти легко. Каблуки сапог оставляют еле заметный след. Ни единой травки, ни кустика на пути. Солнечный свет, отражаясь на белой поверхности такрыа, становится еще ослепительнее. Веки наливаются тяжестью.

Орлов и Порошин наконец останавливаются. Тонкими струйками по лицам течет пот, оставляя грязные следы. Мокрые гимнастерки покрылись солью. Через подошвы поношенной обуви чувствуется накаленная солнцем почва.

Порошин отстегивает от ремня турсук, подносит его к губам и маленькими глотками, наслаждаясь, пьет степлившуюся воду. Пить хочется сильно, кажется, что для утоления жажды не хватило бы и целой бочки.

Но Орлов поспешно протянул к турсуку руку и, сжав пальцами его горлышко, прекратил доступ воды.

— Довольно, Порошин! Воды мало.

Глаза красноармейца, на миг блеснувшие сумасшедшим огоньком, смущенно опустились.

— Пить хочется, товарищ лейтенант.

Орлов провел сухим языком по небу, сжал челюсти. Слюны во рту не было.

— Ничего, Порошин, крепитесь. Не умрем, меньше думайте о воде.

— Кваску бы теперь... со льдом, — опять сказал Порошин. Он попытался улыбнуться.

— Двигаем дальше!

Такыр кончался. Впереди, над горизонтом, прямо в воздухе висело обратное изображение вершины бугра Бое-Даг. Направление пути было правильное; солнце, стоявшее над головой, стало падать вниз, заглядывая в лицо путникам слева.

Незаметно такыр перешел в песок, поросший чахлыми кустами гребенчука. Из-за бугра выскочили три джейрана. Оторопев от неожиданности при виде людей, они остановились, затем, подпрыгнув на месте, бросились прочь.

Итти становилось труднее. Ноги вязли в горячем песке, замедляя движение. Спускаться и подниматься с увала на увал было все тяжелее. Но Орлов, преодолевая усталость и жажду, попрежнему твердо шагал вперед. Время от времени он оглядывался на Порошина, что-нибудь говорил ему, стараясь подбодрить шуткой.

Иногда воображение начинало рисовать заманчивые картины: нежная, ласковая прохлада деревьев... Вода, много воды... река... Так и бросился бы, кажется, в ее холодные струи.

Орлов сердился на свою слабость, хмурил брови и начинал думать о другом, — об оставшихся позади товарищах, о больном Гусеве. Капли пота, повиснув на ресницах, туманили зрение.

Вечером у саксаульных зарослей остановились на длительный отдых. Все тело ныло. В висках постукивали молоточки.

Выпили весь турсук воды Порошина, закусили галетами.

Орлов ориентировал карту по компасу и примерно определил пройденный путь. За день прошли пятьдесят километров. До бугра Бое-Даг оставалось тридцать километров.

— Давай-ка уснем, Порошин, — сказал Орлов и тотчас же тихо захрапел.

От ночного холода первым проснулся Порошин. Луна поднялась высоко и мертвенный свет ее обливал пустыню. До восхода солнца оставалось еще часа три, и прохладное время это надо было использовать.

Два товарища, пошатываясь от усталости и спотыкаясь о кусты гребенчука, двинулись дальше. Мерцающая полярная звезда указывала им дорогу.

После знойного дня как хороша и прохладна кажется ночь в песках!

Все отдыхает. Даже ветра не слышно.

Тишина...

По пятам за двумя темными фигурами гнались косые тени.

— А что, Порошин, может быть, мы сейчас попираем ногами как раз 38-ю параллель? А?

Порошин улыбнулся, сплюнул в сторону тягучую кислую слюну.

— Может быть, — невесело отозвался он.

Оба на минутку зачем-то остановились, посмотрели друг на друга, но так ничего больше и не сказав, молча пошли дальше.

Около девяти часов утра в тени, отбрасываемой скалой Бое-Даг, опять отдыхали. Глаза слипались, но сон прогоняли крепкой махоркой. Заснуть — значит не встать и не дойти до цели, погибнуть от жажды самим и погубить оставшихся товарищей.

Нет! Вперед, только вперед!

Благодаря тому, что направление было взято на Бое-Даг, путь значительно сократился. Станция Айдин находилась теперь уже в двадцати километрах.

Но воды в турскуе оставалось не более двух стаканов.

Шли молча, стиснув зубы и не открывая рта, чтобы не давать высыхать слюне. Мозг неотступно ссерила только одна мысль: пить... пить...

Порошин постепенно начал отставать. Винтовка камнем давила плечо. Воспаленные красные глаза его безжизненно смотрели вперед. Пошатываясь, Порошин шел уже как автомат.

Прямые лучи безжалостно обжигали путников. Наступила страшная жара.

Вдруг, вдали, в знойном мареве полдня, под ослепительными лучами солнца засверкало озеро. Причудливые купы деревьев теснились к берегам, отбрасывая густую тень.

— Вода, вода! — иступленно крикнул Орлов и бросился вперед.

Пробежав десяток метров, он упал ничком на песок, споткнувшись о кочку.

Это отрезвило его.

Подняв голову и посмотрев туда, где ему почудилось озеро, Орлов, кроме бескрайних желтых барханов, ничего не увидел.

Это был только мираж.

Для того, чтобы облегчить путь, Орлов решил повернуть на восток, дойти до тропы, соединявшей станцию со старыми заброшенными разработками серы, и по тропе добраться до стана экспедиции.

Оставалось еще километров десять.

— Вот что, Порошин, — сказал старший лейтенант, — отдохнем немного, промочим рот оставшейся водой и сделаем последний бросок. — Видите, впереди большой бархан, — указал он рукой, — с него должна быть видна станция.

— Тяжело, товарищ командир, — ответил Порошин, — но все-таки, надеюсь, дойдем.

Увязая в песке, они снова двинулись дальше, продолжая медленно продвигаться вперед, к высокому бархану.

В желудке появились болезненные спазмы. Тошнота подбиралась к горлу.

Цепляясь за чахлые кусты тамариска, Орлов первым забрался на вершину бархана, спугнув большую лиловую ящерицу.

В четырех-пяти километрах были видны расплывчатые очертания строений, подернутых сиреневой мглой.

Это уже не мираж, это станция — цель пути.

— Порошин! — хриплым голосом крикнул Орлов. Теряя сознание, он медленно и грузно опустился на песок.

Порошин бросился к Орлову и стал тормошить его. Дико озираясь по сторонам, он чего-то искал глазами и, казалось, все больше и больше приходил в ужас.

— Товарищ командир! — прохрипел Порошин, склонившись к измученному лицу Орлова. — Что с вами? — Он слегка приподнял и тряхнул Орлова за плечи.

По лицу Орлова прошла судорога. Веки тяжело поднялись и он долго смотрел на Порошина мутным безразличным взглядом.

Потом он застонал и снова повалился навзничь.

Порошин понял, что это был солнечный удар. Беспорядочные мысли забились в его голове.

„Что делать? Разве можно бросить больного командира? Но ведь остаться с ним, — значит погибнуть обоим. Нести на плечах? Нет, сил не хватит. Воды! Если б хоть кружку воды!..“

Порошин скрипнул зубами.

Он перенес Орлова под куст гребенчука, взял сумку с документами, винтовки, карты и, несколько раз оглянувшись, спустился с бархана.

Задышавшись, Порошин шел по песку, спотыкаясь о кочки. Иногда он падал, поднимался и снова шел. У древней полуразрушенной могилы красноармеец остановился, раздвинул зеленые кусты саксаула и увидел внизу, в километре от того места, где он стоял, постройки станции. Отчетливо слышались хлопки мотора водокачки. Было видно, как по полотну железной дороги два человека толкали перед собой вагонетку.

Порошин собрал последние силы и пошел.

На крутую насыпь полотна он забрался уже ползком.

Немного в стороне от барака путейских рабочих стояли белые палатки базы отряда. На мачте полевой радиостанции трепетал на ветру красный флажок. У коновязи, под навесом, стояли лошади. На неубранной куче навоза копошились белые куры.

Из какой-то палатки доносились веселые звуки гармошки.

Необыкновенное состояние овладело Порошиным: он хочет двигаться вперед, но стоит на месте. Все тело пылало. К горлу подступала тошнота.

— Товарищи, спасите! — крикнул Порошин.

Но это был не крик, а какой-то хриплый беспомощный шопот.

Сорвав с плеча винтовку, Порошин выстрелил вверх.

Из палаток выскочили красноармейцы. Порошин кинулся вперед.

Через десять минут трое бойцов с запасной лошадью и турсуками воды скакали за Орловым.

А через три часа двадцать минут с аэродрома вылетел самолет Н-ской эскадрильи к группе Глинского.

В. РАЗУМОВ

## В ГИССАРСКИХ ГОРАХ

О черк

ХОДЖА-ПИРЬЯХ

Полевые геодезические работы мы начали в феврале, а уже в апреле закончили задание первой очереди и подошли к самым горам. Здесь работы пришлось временно прекратить: на больших высотах и в ущельях еще лежал глубокий снег и все пути в горы были закрыты. Они открылись только в июне, когда в долине Сурхана уже стояло знойное лето и население окрестных кишлаков двинулось на летовки в горы. Люди гнали стада к ореховым рощам, к сочной зелени альпийских лугов. Наш путь вел дальше и выше. Нам предстояло побывать в зоне вечных снегов, на вершинах свыше пяти тысяч метров и преодолеть три хребта — Гиссарский, Зеравшанский и Туркестанский.

Первый пик, на котором была запроектирована постройка тригонометрического пункта, — это Ходжа-Пирьях. Его белая шапка, поднимающаяся почти на 4500 метров над уровнем моря, видна издали, из самой долины Сурхана.

Это одна из главных вершин западной ветки Гиссарского хребта, занимающей обширное пространство между Каршинской степью и долиной реки Сурхана.

Здесь-то и должно было состояться мое первое знакомство с высокогорными районами Туркестана. Об опасностях гор — обвалах, снежных лавинах, горных потоках я имел весьма смутное представление. Знал о них только по литературе да рассказам товарищей, которым не раз приходилось бывать в горах.

Покинув долину Сурхана, мы выступили по горной выючной тропе, поднимающейся вверх по ущелью реки Туполанг.

Мы шли без проводников, ориентируясь по карте.

Тропа вилась по крутым склонам, описывая иногда самые сложные зигзаги и петли, чтобы обойти неожиданно встретившуюся скалу. Местами, где не было обходов, тропа перебрасывалась с одного берега реки на другой по узким и зыбким висячим мостам.

Добрую половину пути нам пришлось проделать пешком, ведя коней в поводу. Трудно было усидеть в седле, когда лошадь, всхрапывая и прядая ушами, ступала по зыбкому оврингу—узкой висячей тропе, каким-то чудом прилепившейся к отвесной скале, наподобие маленького балкона, у которого не было ни перил, ни барьера. Лошадей часто приходилось расседлывать, чтобы они не зацепились за торчащие выступы скал и не слетели в пропасть.

Чем выше мы поднимались в горы, тем все ближе к нам подступал мощный великан Ходжа-Пирьях. Он казался совсем близким, хотя до него оставалось еще двенадцать километров. Жители маленького горного кишлака, где мы остановились на ночлег, рассказали нам, что южные склоны горы совершенно недоступны.

В этом было легко убедиться. На фоне закатного неба пик был виден отчетливо, и сразу бросалось в глаза, что скалистые южные склоны его совершенно бесснежны. Старики утверждали, что из-за крутизны снег на этих склонах не задерживается даже зимой.

Посоветовавшись, мы наметили новый маршрут: решили подойти к пику с северо-восточной стороны. Этот путь был почти в три раза длиннее, но другого выхода у нас не оставалось: подход с востока был также невозможен из-за огромного ледника, обрывающегося вниз многометровой отвесной стеной.

На следующий день наш маленький караван снова тронулся в путь. Тропа, извивавшаяся по горным склонам, вывела нас в ущелье горной речки, и под вечер мы добрались до небольшой рощицы ореховых деревьев. Разбили палатки, развели костер, отпустили на лужайку стреноженных коней и стали готовиться к предстоящему тяжелому подъему.

К нашему костру собрались пастухи. Мы стали расспрашивать их, как лучше подняться на вершину, но они только покачивали головами и говорили, что это невозможно.

— Знаешь, почему эту гору называют Ходжа-Пирьях?—сказал мне старый белобородый пастух.— Не знаешь? Так вот слушай. Когда то давно в кишлаке Шатрут, а может быть в Муше, жил один человек. В старину люди у нас дальше долины Сурхана не ходили. А этот человек был в Самарканде, в Бухаре и даже совершил путешествие в Мекку. Как всякого человека, совершившего паломничество в Мекку, его прозвали Ходжи. Гордый был человек этот Ходжи, упрямый. Однажды он заспорил с одним охотником, что вот, мол, никто не может подняться на эту вершину, а он, Ходжи, поднимется. Охотник усмехнулся и говорит: „Никто не поднимется“. Тогда Ходжи встал, взял свой посох и пошел. И как ни стговаривали его, никак не могли отговорить. Так он и пошел вон по той дороге.

Старик показал рукой на едва видневшуюся тропу, замолчал и стал разглаживать свою белую бороду.

— Ну и что же?—спросил я.



Он махнул рукой.

— С тех пор его никто не видел. Только люди стали называть гору Ходжа-Пирях.

\* \* \*

Утром мы встали пораньше, распределили между собой тяжелый груз: для возведения тригонометрического пункта нам приходилось тащить с собой цемент, скальные сверла, большие молотки и чугунную марку.

Не спеша, экономя силы, мы начали подъем. Воздух был необычайно прозрачен, чист, и расстояние скрадывалось настолько, что пик казался буквально рядом. По-весеннему журчали ручьи. Снег сошел здесь совсем недавно, и повсюду на лужайках только что пробилась первая зеленая трава.

По мере подъема становилось заметно холоднее. Вскоре мы достигли зоны, где вечных снегов еще не было, но трава уже исчезла совсем. На больших валунах виднелись только рыжеватые и мутнозеленые пятна лишая, а затем все чаще стали попадаться бурые островки не растаявшего снега.

Через час мы шагали уже по полям вечного снега, который настолько слежался, что свободно выдерживал тяжесть человека.

К вечеру, окончательно выбившись из сил, мы остановились для ночевки под большой нависшей скалой, страховавшей нас от лавин и обвалов.

Пока еще не стемнело, я решил произвести разведку. Оставив в лагере рюкзак, я направился к центру большого амфитеатра, раскинувшегося под самым обрывом ледника, спускающегося с вершины.

Вершина была заманчиво близка, но зато отсюда можно было еще яснее убедиться в ее недоступности. Ледник спускался совершенно отвесной стеной. Где-то далеко вверх, на самом краю этой гигантской стены, нависли огромные глыбы льда. Подходить к леднику было опасно: по временам эти глыбы с тяжелым грохотом обрушивались вниз.

Оставалось сделать единственную попытку — подойти к вершине по хребту, который тянулся грядой правее, с севера. Этот хребет спускался к нашему лагерю крутым заснеженным склоном.

На утро мы начали штурм. Итти приходилось по снежному полю, шаг за шагом пробивая носками ботинок скользкий наст. Иногда наст обламывался, мы проваливались по пояс в рыхлый снег.

Упираясь в хрупкий колючий наст руками, плечами и подбородком, мы с трудом выбирались из этих снежных ям, но через минуту проваливались снова. Несмотря на утренний мороз, все обливались потом.

С большим трудом нам удалось взобраться на хребет. Он был похож на гребенку, зубцами которой служили одиноко торчащие черные скалы, образно названные геологами „жандармами“.

С хребта открывался вид на западный склон пика, представ-

ляющий собою отвесные, точно отполированные, голые скалы. Прямо перед нами стоял ледяной северный склон. За ним, еще выше, вздымалась черная отвесная стена в десятки метров высотой и лишь над ней более пологие склоны двуглавой вершины Ходжа-Пирьях, покрытые вечным снегом.

Сомнений, что вершина недоступна, больше не оставалось. Но выполнить приказ—построить тригонометрический пункт—мы должны были во что бы то ни стало.

С хребта открывалась величественная панорама окружающих гор. Это давало возможность выбрать вершину, наиболее удобную для постройки тригонометрического пункта. Такой вершиной оказался пик Ходжа-Кыршавар, по высоте почти не уступавший Ходжа-Пирьяху. На нем мы наметили возведение тригонометрического пункта и после короткого отдыха пошли на штурм.

Шли по обледенелому склону, связавшись альпийской веревкой и одев на ботинки кошки. Я шел первым, вырубая во льду ступеньки и закрепляясь на время работы ледовыми крючьями.

Товарищи, шедшие позади, страховали меня веревкой и, также закрепляясь крючьями, расширяли сделанные мною ступеньки.

Крепкий лед плохо поддавался ледорубу. Работа в разреженном воздухе быстро утомляла, но отдохнуть было теперь уже негде: вокруг простирался сверкающий на солнце ледяной склон.

С большим трудом мы добрались наконец до вершины Ходжа-Кыршавара и впервые установили на нем тригонометрический пункт.

Так был выполнен приказ. Так был покорен пик Ходжа-Кыршавар. Ледяной гигант Гиссарского хребта был побежден волей человека.

## Г А В А

Гава—это название перевала в западной части Гиссарского хребта.

В отчете Туркестанского Военно-топографического отдела за 1909 год о перевале Гава говорится: „Дорога по долине р. Ак-Су в город Шаршауз идет с запада правым берегом реки Ак-Су и из селения Тамшуш разделяется на две: юго-восточная направляется на перевал Гиссарского хребта Тамшуш (высотой 12054 фута), доступный только для пешех, а северная ветвь, пройдя по отрогам Гиссарского хребта через кишлаки Кызыл-Имчак и Гилязи, спускается снова в долину реки Ак-Су, по ней круто поворачивает к югу и доходит до перевала Гава, высотой 12180 футов. Подъем на перевал очень труден, крут и каменист и доступен только для пешех.“

Я избрал именно эту точку, когда на одном из пиков Гиссарского хребта к западу от перевала Гава, где был построен знак, мне нужно было произвести наблюдения. Близилась осень и надо было спешить.

Вдоль речки, которая сбегала от ледников, тянулась горная

тропа. Склоны ущелья были сплошь покрыты арчевыми рощами. На пути часто встречались летовки, возле которых паслись отары овец и табуны кобылиц. Но по мере подъема тропа делалась трудно проходимой, начали встречаться завалы, растительность становилась все беднее, редели, мельчали и наконец совершенно исчезли арчевые рощи. Скалы все чаще сжимали русло реки, и вспененные воды ее с шумом пробивали себе дорогу среди камней.

На завалах спешивались, давая коням длинный повод и возможность самим выбирать дорогу.

На высоте около 3000 метров ущелье стало положе и шире. Впереди виднелся главный хребет с его ледниками.

Мы остановились на ночевку.

Я произвел детальную разведку местности, а утром отправился искать перевал.

За лагерем снова начались каменистые завалы. Дальше тянулся крутой ледник.

Почти у самого стыка главного хребта с отрогом к гребню хребта поднимался снежный склон. Вырубая ледорубом ступеньки, я поднялся на хребет. Здесь находилась точка перевала, с которого мне был виден наш лагерь. Я спустился ниже и дал шапкой сигнал к выступлению. Затем снова поднялся на перевал и увидел, как к подножью ледника подошла моя группа.

Самое трудное оставалось еще впереди. Надо было каким-то образом втащить выюки и поднять лошадей по отвесному снежному склону, по которому сам я взбирался с помощью ледоруба.

С большим трудом мы подняли выюки на веревках и перетаскивали на южный склон перевала. Затем стали втаскивать лошадей.

С двух сторон привязывали к подпругам веревки, третья поддерживала коня под крупом, а четвертая, как направляющая, за чомбур. Мы тянули коня за веревки и помогали ему таким образом взбираться по снежной крутой стене.

Подъем на перевал занял у нас целый день.

Уже в сумерках мы спустились, наконец, к горным лугам, где и провели ночь.

Утром мы поднялись на высоту четыре с лишним тысячи метров, произвели необходимые наблюдения и только к вечеру следующего дня, закончив работы, вернулись на свою базу к бурлящему Туполангу.

#### ЧЕРЕЗ ГИССАРСКИЙ ХРЕБЕТ

Пункты на Гиссарском хребте были установлены. Оставалось преодолеть хребет в районе Маргузарских озер, чтобы вывести отряд на Зеравшанский и Туркестанский хребты.

Этот район с высотами от трех до пяти тысяч метров заполнен могучими отрогами гор. Склоны отрогов Гиссарского

хребта покрыты лесами и крохотными участками богарных посевов. Ближе к вершинам склоны становятся скалистыми, обнаженными и почти недоступными.

Реки, протекающие по узким долинам или непроходимым теснинам, стремительны и бурны. Вдоль рек, в особенности больших, расположено множество маленьких живописных селений.

Единственными путями сообщения здесь служат горные тропы. Они то идут вдоль реки по камням и карнизам, то поднимаются на крутые, узкие, высокие хребты, затем вновь опускаются по ним головокружительными зигзагами.

Каждый год при возвращении на летовки в горы местным жителям приходится восстанавливать тропы, разрушенные обвалами, снегом и весенними грозowymi ливнями.

Транспорт моей группы был выючный, единственно возможный в горах. К тому же он был невелик. Мы имели с собой только самые необходимые инструменты, лагерное имущество и некоторый запас продовольствия.

Мы выступили в начале августа—время наиболее благоприятное для работы топографов в горах. Дни в этом месяце стоят безоблачные, снежный покров на больших высотах—наименьший. На южных склонах Гиссарского хребта снег в это время встречается очень редко, да и то лишь в глубоких теснинах, недоступных солнцу. Горные луга в цвету. Стада овец и кобылиц подходят к самым перевалам. Киики и архары со своим окрепшим молодняком спускаются со скал и пасутся на лугах.

О наличии перевала в этом районе хребта имелись очень скудные и непроверенные сведения. Говорили, что кто-то и когда-то перевалил через хребет в этом месте, и даже на старой двухверстке условным знаком была сделана отметка перевала.

Мы выступили вверх по ущелью реки. Каждый поворот тропы, каждый шаг открывал перед нами все новые и новые красоты. Но вскоре мы привыкли к этому и смотрели на природу с чисто профессиональной точки зрения: годна ли для возведения пункта вершина, подойдет ли для постройки лес, доступен ли для коней перевал, правильно ли отражена на карте окружающая местность.

Караван наш двигался медленно, с частыми задержками. На завалах, оврингах и висячих мостах лошадей вели в поводу, так как даже самые смелые кони, приближаясь к оврингу, начинали дрожать всем телом.

Вечер застал нас в горных лугах под каменистыми осыпями, сползающими со скалистого гребня хребта, а с первыми лучами солнца мы начали подъем на перевал. Снова и снова мы шли по скользкому насту, проваливались в снег, обходили трещины и теснины.

К вечеру следующего дня мы вышли в район Маргузарских озер. Воды этих озер, питающихся ледниками, так прозрачны и чисты, что даже в самых глубоких местах видны камни и водоросли на дне. Зеркальная поверхность воды цвета лазури и

изумруда отражала дикий, величественный пейзаж с нависшими скалами и остроконечными пиками покрытых снегом гор.

К востоку от озера Азор-Чешме на скалистом хребте мы наметили постройку очередного тригонометрического пункта. Из этого района нам предстояло сделать ряд восхождений. Поэтому мы обосновались здесь капитально: разбили палатки, приготовили инструмент и альпийское снаряжение.

Утром я вместе с красноармейцами Чижовым и Стасенко начал восхождение на первый намеченный хребет.

Имея за плечами более легкий груз, чем Стасенко и Чижов, я ушел вперед в поисках более удобного подхода к вершине, имея целью сократить и облегчить подъем моим спутникам, нагруженным инструментами, чугунными марками, скальными сверлами, цементом и немалым запасом продовольствия, который мы взяли на тот случай, если бы внезапно испортилась изменчивая в горах погода и нам пришлось бы задержаться на вершине.

С каждым шагом путь становился все труднее и опасней. Мне пришлось преодолеть несколько остроконечных зубчатых скал-жандармов. Перевалив через последнюю скалу, я спрыгнул на маленькую площадку и очутился в ловушке. Впереди была глубокая щель, с обеих сторон — бездонные обрывы, а сзади высилась гладкая стена жандарма. Я стоял, прижавшись спиной к стене, не имея возможности даже повернуться к скале лицом.

Я все же сделал попытку освободиться от лишнего груза и осторожно бросил ледоруб на площадку противоположной скалы. Бросок получился неудачным. Ледоруб, ударившись о гранитную стенку, полетел в пропасть. Я невольно проследил за его полетом и почувствовал, что у меня кружится голова. Я отвел глаза в сторону, стараясь не смотреть в пропасть.

А время тянулось мучительно медленно. Ноги у меня онемели и затекли. Но вот где-то высоко надо мной послышались голоса красноармейцев.

Они бросили мне веревку и спустили бамбуковый шест. Упираясь им в площадку противоположного склона, я выбрался, наконец, на просторное место.

Дальше уже стало легче. Нас было трое, и мы страховали друг друга в опасных местах.

Достигнув намеченной точки хребта, мы построили знак и провели необходимую работу.

Холодная ночь застала нас среди скал. На следующий день мы благополучно спустились с горы и к обеду уже прибыли в лагерь.

Самый тяжелый участок пути был пройден. Работа закончена успешно и ряд вершин Гиссарского хребта получил точные координаты.

С. ЛИХОДЗИЕВСКИЙ

## ТВОРЧЕСТВО ВЛАДИМИРА ЛИПКО

Стихи Владимира Липко начали появляться на страницах узбекистанской периодики с 1936 года. Узбекское государственное издательство выпустило его стихотворные сборники: „Ода маю“ (1939), „Меч и песня“ (1942) и „Стихи“ (1946). Кроме того, в журнале „Литература и искусство Узбекистана“ № 5 за 1940 год была напечатана его драматическая поэма „Конец семьи Довгелло“, а в журнале „Звезда Востока“ № 10—11 за 1946 год — поэма „О юности твоей, о славе“. Читателям Узбекистана Липко известен и как переводчик многих произведений современной узбекской советской поэзии на русский язык (стихи Г. Гуляма, Х. Алимджана, М. Шейхзаде, Уйгуна, Т. Фаттаха, Миртемира, Х. Пулата и др.).

Первый сборник Липко „Ода маю“ скромнен по своему объему: в нем только девять оригинальных стихотворений и двенадцать переводных. В нем находим также фрагменты поэм „Белая ночь“ и „Мост над Рейном“. Молодой герой проходит через стихотворения Липко: это деревенский подпасок, выросший в бригадира-ударника и с путевкой райкома отправляющийся в Москву, зоркий советский пограничник, юный летчик, „черный Гарри“, обретающий свою родину в СССР. Стихотворение „Воронье“ насыщено благородным гневом против подлых врагов народа — буржуазных националистов. Наконец, несколько стихотворений посвящено любви и дружбе, молодости и природе.

Такова тематика сборника начинающего поэта. В стихах Липко того времени нетрудно заметить черты поэтического ученичества, которые сказываются то в примитивной разработке темы и незрелости мысли, то в зыбком, неотработанном ритме и неустойчивой строфике, то в эпитете-штампе („бурливая весна“, „светлая юность“), то в беспомощной рифме (дивчина — дыма, отражает — встречалась), то в прямых заимствованиях из других поэтов. Но в „Оде маю“ есть стихи, где начинает определяться и собственная поэтическая манера Липко, его стремление к

углубленной разработке душевных переживаний. Примером может служить фрагмент „Белая ночь“ (из поэмы „Федор Достоевский“, которая осталась незаконченной). Липко рисует портрет „припадочного печального гения“, раскрывает его гуманизм, любовь и сострадание к маленькому человеку, поработанному в классовом обществе. Перо скрипит, Достоевский работает. В его воображении теснятся бесчисленные герои, „униженные и оскорбленные“, просящиеся на бумагу. Среди них—солдат, которого прогнали сквозь строй:

„А почему, когда меня сквозь строй,  
Ты помнишь, гнали, ты рыдал бессильно,  
А вот сейчас молчишь? Я тоже твой герой!  
Ты должен написать!“ Но серую холстину  
Затянут вдруг твой воспаленный взгляд.  
Ты чувствуешь—на голову, на плечи  
Мешок ложится и петля... „Назад!  
Об этом мне нельзя!“ Падучая. И нечем  
Тебе помочь...

Этот острый психологический рисунок, этот перенос последней фразы из одной строки в другую, эта оборванная заключительная строка удачно передают припадок, где невероятными физическими муками разрешается столкновение художника, задыхающегося в атмосфере полицейского произвола и цензурных рогадок, с гнетущей его действительностью. Правда, и в „Белой ночи“ есть неровности и срывы: так о героях Достоевского в одном месте безвкусно говорится, как о „жестоком калейдоскопе до гадости живых, до ужаса похожих“... на самого писателя (?!).

Более ценными и более содержательными представляются сборники Липко периода Великой Отечественной войны—„Меч и песня“, „Стихи“, которые можно рассматривать, как одно целое: дело не только в том, что ряд стихотворений первой книги перепечатан во второй—обе книги характеризуются тематическим и художественным единством.

Великая Отечественная война против германского фашизма определила тематику поэзии Липко военных лет. Пламенный советский патриотизм, вера в титаническую силу советского народа, любовь к родине являются лейтмотивом обоих сборников.

Обращаясь к родине, поэт пишет:

Твоих рассветов ясная палитра,  
Твоих полей рисунок золотой,  
О, Родина! В годину страшной битвы  
Прими стихи мои, как клятву, как молитву,  
Я кровью сердца говорю с тобой.

Поэт искренен и конкретен. В стихотворении „Родине“, где широко использован прием анафоры (единоначатия), понятие ро-

дины конкретизируется в поэтическом перечне того, что является самым дорогим для сердца поэта: это—„вождь в Кремле, над картою склоненный“, это колонны советских воинов и матери, их породившие, это—поэзия Пушкина и русская природа, это спокойный сон советских детей, охраняемый славными сталинскими соколами.

Великому вождю, чья государственная мудрость и военный гений спасли советское государство от иноземного порабощения, посвящено стихотворение „Рожденный народом“. Отходя от поэтических штампов, „символов пестрых“, Липко стремится воссоздать глубоко человеческий образ вождя-полководца:

Представить усталым его на мгновенье!  
Вот полночь время, а дел еще много..  
Трудиться все шесть, и трудиться в субботний,  
В иной день, как нынче—от рани до рани.  
И все же—откуда?—Найти себе время  
Зябыться над книгой, побыть на концерте,  
Шутить и смеяться, беседовать с теми.  
Кто дорог, кто верен и в жизни и в смерти.

Героикой военных лет насыщены другие стихотворения Липко. Липко—прежде всего лирик. Его лирические миниатюры являются иногда острыми психологическими этюдами. Тема стихотворения „Мать“—дружба народов нашей советской Родины. Материалом для разрешения темы послужили поэту последние минуты жизни бойца-узбека, сраженного под Минском.

Он потянулся к ней, собрав остаток силы,  
От боли судорожно искрививши рог,  
Она бойца на руки подхватила,  
Баюкала бойца... Что он сейчас умрет,  
Об этом знали оба. Взгляд Агзамы  
Уже тускнел. Последний миг настал..  
„Она,—шептал он ей,—что по-узбекски—мама,—  
Она, я знал, что ты придешь, я знал...“  
А Мария Власьева, крестьянка из-под Минска,  
Над ним рыдала: „Сын, не уходи!“  
И нежно прижимала к материнской  
Широкой русской ласковой груди.

Победным оптимизмом веет от строк этого скорбного стихотворения. Боец умирает, но чувство кровной дружбы народов нашей Родины торжествует.

„Выздоровление“ начинается динамичной эллиптической фразой: „Как умирал—не нужно“. Ведь тема стихотворения—не смерть, хотя госпиталь, где находится выздоравливающий, овеян ее дыханием. Тема стихотворения—могучая жажда жизни, „ток силы непокорной“. Читатель радуется вместе с выздоравливающим рассказчиком, когда тот простыми человеческими словами повествует:



А я ведь жил уже. Я сам взбивал подушку,  
Я двигал пальцами, я мог на край стола  
От середины передвинуть кружку.  
Я жил...

Стихотворение это, однако, включает в себе несколько неудачных строк, где говорится, что больной „вдохновляется“ плечами няни, которые сравниваются с „...пасхальным куличом“, „пшеничным, пышным, радостным, богатым“. Ясно, что и „плечи“ и „кулич“ ослабляют впечатление от стихотворения, хорошо задуманного.

Интимная лирика Липко характеризуется моральной чистотой и целомудрием (цикл „Моей Валерии“). Любовь у Липко — высокое человеческое чувство, преисполненное глубокого уважения к женщине. Поэзия любви естественно перерастает в поэзию счастливой семейной жизни („Моему ребенку“, „Друг мой, голубка моя молчаливая“).

К лучшим образцам интимной лирики Липко относится и стихотворение „Мне милы“.

Стихотворения, собранные в сборниках „Меч и песня“ и „Стихи“, свидетельствуют о несомненном творческом росте автора „Оды маю“. Повысился общий идейный уровень поэзии Липко, расширился круг его тематики, замечен рост его поэтического мастерства, стихотворной культуры.

Особо следует остановиться на поэмах Владимира Липко.

Хронологически за сборником „Ода маю“ следует драматическая поэма „Конец семьи Довгелло“ (1940), написанная белым пятистопным ямбом. Главная ее тема — распад шляхетской семьи, проживавшей на территории Западной Украины. Действие отнесено к 1939 году.

Это произведение свидетельствует о тяготении Липко к большому жанру. Но оно крайне многотемно. Наряду с основной темой, подчеркнутой заглавием, на первое место претендует тема столкновения одаренного скульптора-самородка с меценатствующим шляхтичем (скульптор Юрий Гацка — главное действующее лицо). Но этого мало. Здесь и тема ухода из лона господствующего класса отдельных его представителей (Елена), и тема подпольной революционной борьбы (Гай, Израэлич), и тема любви — идеальной и порочной — и другие. При этом ни одна из тем не нашла глубокого реалистического разрешения. Перегрузка драматической поэмы действующими лицами обусловила схематизм и некоторую ходульность характеров. Весь этот многочисленный оркестр плохо сложен. Живыми местами поэмы являются лишь отдельные лирические монологи Юрия и Елены.

В сборнике „Меч и песня“ помещена поэма „Мост над Рейном“. Это серия надуманных романтических видений. На мосту над Рейном автор (?) поочередно встречается с героями поэмы: с писателем Криттом, который сначала хотел покончить само-

убийством, а потом стал гестаповцем и был впоследствии казнен подпольщиками; с женщиной, муж которой был убит фашистами и которая в отчаянии бросается в Рейн; наконец, с Неизвестным, который в поэме должен представлять антифашистское подполье. Все это маски без плоти и крови. Сюжет поэмы искусственен, а ее исполнение манерно.

В эпистолярной форме написана поэма „Глаза“. В качестве исходного пункта автор использует известные опыты академика Филатова по пересадке роговицы глаз.

Четыре письма, принадлежащие трем героям поэмы, рассказывают о том, как летчику-фронтовику было возвращено зрение путем пересадки роговицы глаз погибшей под трамваем девушки. Мать погибшей ищет сходства между прозревшими глазами летчика и глазами погибшей дочери.

Несмотря на случайность завязки, поэма насыщена острыми психологическими положениями и развертывает картину новых человеческих отношений в советском обществе. Герои поэмы проходят через тяжелые жизненные испытания, обновляясь и закаляясь для дальнейшего плодотворного труда на благо народа. Тема жизнеутверждения и оптимизма ставится как на образе возвращающегося к труду летчика, так и на образе матери, воспрянувшей к новой жизни после жестокого потрясения, связанного с гибелью единственной дочери.

Среди героев поэмы на первый план выступает „русский асс“ Алексей Голицин, „прославленный за многие сраженья“. История его прозрения в миниатюре уже намечена в цитированном выше „Выздоровлении“. Человек, который вновь обрел зрение, с восторгом смотрит на открывшийся ему красочный мир, где чернила — лиловые, бумага — белая, а листва за окном — „на сто ладов зеленых“.

Герой ослеп в бою: „горящий самолет сажая без колес, нельзя отделаться одним испугом“. Во время слепоты он не пишет возлюбленной, хотя уверен, что она „свое тепло слепому отдала бы“. Обретя зрение, летчик обращает свои мысли к возлюбленной; в деле восстановления старых связей он довольно осторожен и деликатен:

Еще прости меня,—я не хочу скривять,—  
За год могло воды уйти немало,—  
Я, прежде чем письмо тебе писать,  
Разведал: ждешь ты или перестала?

Глубоко человеческое отношение летчика к несчастной матери погибшей девушки. Он понимает, что та не нашла искомого сходства в глазах. И он окружает ее сыновней заботой. Зарождается искренняя дружба, новое родственное чувство. „Ревную так, как мать ревнует сына“, — признается Анна Чалых, узнав, что у летчика есть невеста.

Любовно выписан в поэме образ скорбящей матери, потерявшей единственную дочь. Ее горе раскрыто с большой художе-

ственной убедительностью в ее письмах-исповедях. Сколько нужно было ей выстрадать, прежде чем прийти к мысли, что „даже в смерти Тани был росток большого человеческого счастья"! Казалось, что со смертью дочери все нити, связывающие несчастную мать с жизнью, оборвались, что никакой цели в жизни у нее больше нет. Но вот приходит великая моральная поддержка со стороны чутких, благородных советских людей—и Анна Чалых отвечает им благодарной любовью, стремится в свою очередь помочь им в их борьбе и труде.

Доктор Орлов, третий герой поэмы, в некотором отношении напоминает Урсуса из романа Виктора Гюго „Человек, который смеется": под его внешней ворчливостью таится подлинная человечность.

К недостаткам поэмы следует отнести склонность автора восполнять характеристику того или иного героя чисто внешними и случайными чертами. Так Голицина Липко заставляет „ухать". Письмо летчика к возлюбленной начинается фразой: „Ух! Наконец-то я пишу тебе". В середине письма находим: „Тебя увидеть... Ух!" А при встрече с возлюбленной происходит такой диалог: — Алеша! — „Люлочка! Ты? Ух! Глазам не верю!" Неужели это „уханье" должно засвидетельствовать напористость, страстность героя? Переходит всякую меру в „чертыхании" и доктор Орлов, который начинает свое послание к поэту с „приветствия": „Во-первых, ты ужасная свинья" (?!).

В целом поэма „Глаза" является творческим достижением Липко.

Героем последней поэмы Липко „О юности твоей, о славе" является узбекский юноша Рузван, воспитанный в комсомоле и ставший славным защитником социалистического государства в годы Великой Отечественной войны.

Тема формирования характера молодого советского патриота—ответственная и благодарная тема для писателя. В советской литературе она уже не раз блестяще разрешалась. Вспомним повесть Н. Островского „Как закалялась сталь", роман лауреата Сталинской премии А. Фадеева „Молодая гвардия"—произведения глубокой художественной убедительности, ставшие любимыми книгами советского читателя, имеющие огромное воспитательное значение для молодого поколения. Эта тема и впредь будет неиссякаемым источником для новых стихотворений и драм, поэм и романов. Именно эту тему избрал и Владимир Липко, сформулировав свою творческую задачу следующим образом:

Какая сила в бой вела Рузвана?  
Каких традиций был наследник он,  
Как приобрел он мудрость ветерана?

Ответить на эти вопросы и должна поэма „О юности твоей, о славе".

Липко, конечно, прав, когда утверждает, что „не только автомат, не только танк—оружие солдата“. Речь идет еще и о другом оружии—о моральных качествах воина Советской Армии, его коммунистическом воспитании, большевистской любви к советской Родине, его безаветной преданности идеям коммунизма. Но как в поэме раскрыто это идейное вооружение Рузвана?

В наказе друзей Рузвану читаем: „Будь в битве тем, каким тебя создали семья, твой город, школа, комсомол“. Липко начинает с семьи героя. Отец Рузвана—участник гражданской войны, он „бил басмачей“, боролся с шариадом. И сына своего он воспитывает в духе безаветной преданности советской Родине и дружбы народов. Правда, о содержании отцовских воспоминаний из поэмы можно узнать немного, рассказы отца остаются в подтексте.

Однажды Рузван читает восторженные стихи узбекского поэта Фирката, посвященные Суворову.

И задан был вопрос уже не детский,  
Когда сказал подросток: „Отаджан,  
Что это? Почему поэт узбекский  
Сардару русскому сложил такой дастан?“

И отец, полный доверия и любви к русскому народу, его героическому прошлому, дает соответствующие разъяснения Рузвану. Образ Суворова сыграл не последнюю роль в решении вопроса—кем быть? Рузван решил посвятить себя военному искусству.

Ряд строф поэмы раскрывает образ любящей и трудолюбивой матери Рузвана, и эти строфы преисполнены глубокого лиризма.

Что же касается роли советской школы (а также и родного города) в воспитании характера и формировании коммунистического мировоззрения Рузвана, то эта роль в поэме не освещена, хотя и декларирована.

В шестнадцать лет Рузван вступает в комсомол. Его комсомольская работа описана схематично:

Рузван с азартом отдался работе,  
День мал ему, минуты на учете.  
Ложится за полночь, к шести встает.  
Он—секретарь ячейки. Тьма хлопот!

Липко сообщает, что Рузван увлекает ребят военным делом, дает „отпор иным стремленьям скверно-скоропелым“ (?) „и все—взахлеб, и все—во весь опор“ (?). Следует сухой перечень его интересов, но в действии подросток показан лишь однажды—Рузван спасает жизнь другу Вадиму во время альпинистского похода.

В годы Отечественной войны Рузван учится, а затем и преподает в танковой школе. Приводится история его любви к сту-

дентке Марии. На фронте Рузван становится командиром самоходного орудия, громит врага, выручает своих боевых товарищей из критического положения. Картины боевой дружбы Рузвана, Вадима и Батманова в отдельных случаях написаны живо и выразительно.

Третья глава поэмы начинается с развенчания „удали“: герой поэмы чурается выражений: „от смерти спасся чудом“, „парень хоть куда“. Рузвану чужды понятия „удачи“, „удали“. Липко объявляет приведенные выражения „еретичными“, мысль автора впоследствии проявляется: в подвигах Рузвана „Всегда был твердый разум и расчет“. Правда, позже автор попадает в противоречие, когда указывает, что селение, за которое сражается Рузван, „было взято всем правилам войны наперекор“ (?!).

Цельность характера героя поэмы нарушается и еще одним обстоятельством. Своего скромного и сдержанного героя автор заставляет писать отцу о своих заслугах в тоне, не свободном от самолюбования:

...Позавчера отбил у немцев пушку  
И пару минометов, а вчера  
Накрыл двенадцать пулеметных точек,  
Двух фердинандов, бронетранспортер.  
Все это, не считая всяких прочих (?),  
Которых самоходкой в землю втер.

Кроме того, отрывок создает впечатление необычайной легкости, с которой герою доставались победы.

Рузван—узбек по национальности, действие поэмы в известной части разворачивается в Узбекистане. И надо прямо признать, что узбекский колорит поэмы крайне условен. И это заметно ослабляет реалистическую убедительность центрального образа.

Из заключительных строф поэмы мы узнаем о гибели Рузвана на поле брани. Описание его героической смерти дано в письме Батманова к родителям Рузвана, и это письмо никак нельзя отнести к числу удачных мест произведения.

Обращение Владимира Липко к теме молодого человека советской эпохи—глубоко положительное явление на творческом пути поэта. В образе Рузвана автору удалось раскрыть благородный советский патриотизм, личное мужество и храбрость молодого человека, беззаветно преданного Родине и отдавшего свою жизнь за свободу и счастье советского народа. Вместе с тем, как следует из сказанного выше, центральный образ поэмы остался еще недоработанным. В характеристике Рузвана есть ряд случайных и не до конца продуманных черт. Сам автор, обращаясь к герою, делает многозначительное признание: „Нашей дружбе не довелось быть очной“. И это в значительной мере объясняет недостатки поэмы.

При наличии многих удачных отрывков последняя поэма Липко страдает от ряда стилистических погрешностей. Особое

пристрастие автор питает к „злу“ и „злобе“: поэма говорит о „жутко злом лице Рузвана“, одна из героинь „зло, настойчиво спокойна“, „бой долгий, злой“, Вадим охвачен „упрямой злобой“. Автор разрешает себе словосочетания типа „очень сразу“, „совсем почти“. Манерны выражения: „не обусловив свой приход известьем, что вот, мол, буду, встречу приготовь, с его семнадцатой весною вместе в сороковом пришла к нему любовь“; Рузван „с мечтой на „вы“, с реальностью на „ты“ и подобные. Однообразен прием постановки вопроса и последующего ответа на него: „Где шаг от детства к отрочеству? Там...“ „Три мушкетера? Нет!“ „Но кто она, Нигор? Одна из многих...“ „Как мы живем? Вуюм понемножку“.

Оглядываясь на весь творческий путь Липко, замечаем, что реальная действительность Советского Узбекистана, жизнь и трудовые подвиги узбекского народа почти совсем не отражались в поэзии Липко. Положение не могут спасти отдельные пейзажные стихотворения и даже стихотворение „Мать“, где упомянут узбекский воин Агзам (о Рузване в этом аспекте сказано выше). Это тем более странно, что член Союза советских писателей Узбекистана Владимир Липко уже много лет живет и работает в Узбекистане, среди узбекского народа. Объяснение такого положения следует искать в отрыве поэта от реальной жизни республики. Этот отрыв ведет к неуклонному обеднению идейного содержания поэзии Липко, к замыканию в узкий круг субъективных переживаний, рожденных лишь „заветными страницами любимых книг“, а не живой советской действительностью.

Уже второй год советская страна, после победоносного окончания Отечественной войны, восстанавливает разрушенное фашистскими захватчиками хозяйство и успешно осуществляет новый сталинский пятилетний план социалистического строительства. Советский народ героически работает над тем, чтобы привести нашу Родину к небывалому хозяйственному и культурному расцвету. Темы послевоенного периода труда и борьбы нашего народа до сих пор не нашли еще отражения в поэзии Владимира Липко, что свидетельствует о ее отставании от задач, выдвигаемых современностью. Владимир Липко в большом долгу перед советским читателем, который вправе ждать от поэта новых глубоко идейных и высокохудожественных произведений.

## ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ УЗБЕКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

### ЛИТЕРАТУРА XII—XIII ВЕКОВ

Как мы указывали в предыдущем очерке по истории узбекской литературы<sup>1</sup>, появление „Кутадгу-билик“ Юсуфа Баласагунского (1069—1070 г. н. э.) — первой большой поэмы на тюркском языке — способствовало созданию новых тюркоязычных литературных произведений. Прямым подражанием „Кутадгу-билик“ была дидактическая поэма „Хибат-аль-Хакаиқ“ (Подарок истин), написанная Ахмедом-ибн-Махмудом Юкнаки, носившим прозвище „Адиб-Ахмед“ („Ахмед-литератор“). Сведения о жизни Ахмеда Юкнаки, сохраненные источниками, крайне скудны и носят полуполегендарный характер. Наиболее подробно говорят об Адиб-Ахмеде Алишер Навои в сборнике биографий суфиев „Ветерки любви“, переведенном Навои с персидского<sup>2</sup> и дополненном жизнеописаниями тюркских и индо-мусульманских мистиков, отсутствующими в персидском подлиннике. Не имея в своем распоряжении сколько-нибудь достоверных сведений об авторе „Хибат-аль-Хакаиқ“, Навои сообщает только, что Адиб-Ахмед был слеп и родился на свет с плотнозакрытыми веками, так что глаза его совсем не были видны. Этот недостаток не помешал Ахмеду достигнуть больших успехов в усвоении словесных и религиозных наук, которые он якобы изучал в Багдаде, под руководством знаменитого богослова и юриста VIII в. н. э. Абу-Ханифы, носившего прозвание „величайший имам“. Назидательные изречения и остроты Адиб-Ахмеда пользовались большим успехом среди тюрков, так же как и его стихи; о главном труде Махмуда-Юкнаки — его поэме „Подарок истин“ Навои не упоминает ни одним словом.

<sup>1</sup> „Звезда Востока“, № 1, 1947 г.

<sup>2</sup> Персидский оригинал принадлежит перу знаменитого поэта Джами.

Изучение этой поэмы, рукописи которой крайне редки, вскрывает недостоверность цитированного нами сообщения Навои. Начиная свою поэму, автор ее говорит, что его родина — город Юкнак и что задуманное им сочинение должно обессмертить имя „славнейшего эмира Дад-Сипах-Сайар-бека“ — очевидно, покровителя Адиб-Ахмеда. Никаких других биографических сведений последний о себе не сообщает. Где именно находится родной Адиб-Ахмеду Юкнак, с точностью сказать нельзя; кишлак со сходным названием отмечается географами к северо-западу от Самарканда. Ничего не дает для определения времени жизни нашего автора и упоминание об его меценате, имя которого прошло незамеченным в истории.

Более твердую опору мы получаем, исследуя язык и содержание „Хибат-аль-Хакаи“<sup>1</sup>. Написана поэма по такому же плану и с теми же целями, как и „Кутадгу-билик“; четырнадцать глав, на которые разделяется „Подарок истин“, трактуют о различных вопросах этики и морали, не отступая, в общем, от норм, намеченных Юсуфом Баласагунским. Однако, кое-где слышатся в „Хибат-аль-Хакаи“ иные, чем в „Кутадгу-билик“ нотки: чувство собственного достоинства, сквозящее во многих строках поэмы Юсуфа, и сознание им ценности своего труда было, повидимому, чуждо слепому автору „Подарка истин“; основное для него правило поведения всего ярче выражено в таких стихах:

Что бы ни дали тебе знатные, не говори: „не ем“.

Протяни руку, поблагодари, а не хочешь есть — не ешь.

или:

Когда язык твой что-нибудь говорит — придерживай его,

Чтоб люди, стоящие вокруг, не смеялись над тобой.

В чисто литературном отношении „Подарок истин“ представляет, по сравнению с „Кутадгу-билик“, определенный шаг назад. Сохранив в своем произведении метр и рифмовку поэмы Юсуфа Баласагунского, Адиб-Ахмед плохо справился со стоявшими перед ним формальными трудностями и допустил множество погрешностей против правил „аруза“; отсутствует в его поэме и яркость изложения, характеризующая многие страницы „Кутадгу-билик“.

Несомненная зависимость произведения Адиб-Ахмеда от поэмы Юсуфа Баласагунского доказывает, что „Подарок истин“ был написан не ранее начала XII века, когда „Кутадгу-билик“ могло стать известно за пределами Семиречья<sup>1</sup>. По языку „Хибат-аль-Хакаи“ лишь слегка отличается от своего прототипа, все же знаменуя дальнейший этап в развитии восточно-тюркского литературного языка. Несколько ярче проступают у Адиб-Ахмеда арабизмы и иранизмы (характерно в этом отношении арабское заглавие его поэмы), которые в „Кутадгу-билик“ крайне редки.

<sup>1</sup> Предположение, будто Адиб-Ахмед жил в VIII в. н. э. оказывается, таким образом, лишенным всякого основания.



Появление в XII веке в Мавераннахре большой поэмы на тюркском языке свидетельствует о серьезных успехах языков тюркской системы в борьбе с исконными для районов Самарканда и Бухары иранскими наречиями. О том, что тюркский язык уже в ту пору перестал быть достоянием одних лишь правящих кругов и прочно укоренился в народных массах, говорит значительная популярность произведений современника Адиб-Ахмеда, мистического поэта и основателя дервишского ордена — Ходжи Ахмеда Ясави. Хотя упоминания о Ходже Ахмеде встречаются в позднейшей литературе довольно часто, но фактических сведений, касающихся подробностей его жизни, мы знаем очень мало. Родился Ахмед Ясави, вероятно, в самом начале XII века н. э. где-то на берегах Сыр-Дарьи, возможно, в городе Ясы, развалины которого находятся неподалеку от нынешнего г. Туркестана. Унаследовав от рано умершего отца, тоже дервишского шейха, склонность к мистицизму, юный Ахмед поступил в обучение к знаменитейшим „пирам“ того времени и, усвоив правила суфийского „пути“, пустился, с целью дальнейшего усовершенствования, в далекие скитания.

Пребывание на чужбине томило его; после нескольких лет странствий он вернулся в родные степи и поселился в городе Ясы. Умер Ахмед Ясави в 1166 г.

Впитав в себя традиции суфизма — мистического учения, взращенного на арабской и иранской почве, Ахмед Ясави был пылким и убежденным проповедником его принципов. Непреходящую славу доставили Ходже-Ахмеду его „Хикметы“ — назидательные изречения, излагавшиеся в форме стихов. Каков был язык этих стихотворений в их первоначальном виде, мы не знаем — основной текст „Хикметов“ не сохранился до наших дней. Известные нам рукописи „Изречений“ Ахмеда Ясави, написанные на тюркском языке, имеют в конце его имя: „раб (божий) Ахмед“, но вряд ли можно категорически утверждать, что все стихотворения, которые мы там находим, действительно принадлежат Ахмеду Ясави. Язык этих рукописей, сплошь восходящих к XIX и даже XX веку, — обычный узбекский литературный язык XVII—XVIII столетий. Можно не сомневаться, что в процессе переписки текст „Хикметов“ пополнялся позднейшими добавлениями. Но сквозь эти новые наслоения мы все же можем разглядеть подлинную основу сборника, заложенную много веков тому назад в туркестанских степях, когда Ахмед Ясави убежденно внушал окружающим его кочевникам свои моральные и этические воззрения в коротких пламенных стихах.

Стихи эти должны были прежде всего быть доступны и понятны слушателям. Чтобы достигнуть этого, Ходжа-Ахмед отказался от сложной, замысловатой арабско-персидской просодии и обратился к народной силлабической лирике. Стихи его, имеющие большей частью форму четверостиший, написаны так называемым „бармаком“, т. е. тем слоговым размером, которым и до сих пор пользуются в узбекской народной поэзии. Проникнутые суфий-

ским настроением, стихи Ахмеда Ясави не уводят, однако, слушателей от соблазнов грешного мира в заоблачные сферы мистики; наоборот, проповедник всю силу своего красноречия обращает на обличение людских пороков, бичует богачей и носителей власти, светской и духовной, обманывающих и эксплуатирующих бедняков. Этим злодеям и угнетателям Ходжа-Ахмед грозит неминуемой тяжелой карой, от которой не спасет ни власть, ни богатство.

Горе вам, милосердья забывшим завет,  
Правды в мыслях у ваших правителей нет!  
Тонет в скверие пороков страна, о друзья!  
Восседающих в блеске престолов златых,  
Попирающих правду законов святых —  
Завтра будет судьба им страшна, о друзья!

В жестокую пору непрерывных войн и междоусобий, терзавших его родную страну, Ходжа-Ахмед Ясави призывал к милосердию, к человеческому отношению к обездоленным; в этом смысле его стихи были тогда прогрессивным явлением. С другой стороны, суфийские тенденции, доминирующие в „Хикметах“, тормозили все попытки народа бороться с феодальным гнетом, что соответствовало интересам эксплуататорских классов. Мистический элемент в творчестве Ходжи-Ахмеда особенно подчеркивался и оттенялся представителями байства и духовенства в колониальный период истории Средней Азии, когда изучение его „Хикметов“ было обязательной частью программы мусульманских школ.

Большая заслуга Ходжи-Ахмеда в том, что, образованный в духе арабско-иранских литературных традиций, он все же сумел отойти от персидского языка и связанной с ним метрики и обратиться к тюркскому языку, используя в своем творчестве приемы и формы народной поэзии. Этим он впервые показал всю гибкость живого тюркского языка и пригодность его для выражения сложных, отвлеченных понятий.

Итак, в одном и том же XII веке, наряду с образцами тюркской придворной поэзии („Подарок истин“ Ахмеда Юкнаки), появляются и противоположные ей по форме и содержанию произведения, близкие к народному творчеству. Старо-узбекский литературный язык проходит новый этап своего развития.

\* \* \*

Вторжение монголов в Среднюю Азию (в начале XIII века) надолго задержало это развитие и вообще какой бы то ни было прогресс литературы и культуры. В первые годы монгольского нашествия литературная жизнь замерла почти совсем; пышные дворы бывших владельцев Средней Азии, при которых кормились поэты-панегиристы, исчезли с лица земли, а новые завоеватели —

<sup>1</sup> Перевод В. Державина.

полудикие монголы не интересовались поэзией. Однако, с течением времени, когда вторгнувшиеся в Среднюю Азию пришельцы сбились в покоренных землях и стали понемногу усваивать культуру местного населения, началось и возрождение литературы.

В результате постигшей Среднюю Азию катастрофы, тюркский язык оказался в более выгодном положении, чем персидский. Первенствующее значение персидского литературного языка, которое он удерживал вплоть до XIII века, постепенно было им утрачено. В противоположность предыдущим завоевателям Средней Азии — арабам, монголы, ассимилируя культуру завоеванной страны, не только не утвердили в ней своего языка, но, наоборот, утратили собственную языковую обособленность и религию и, вместе с исламом, усвоили основной для местного населения — тюркский язык. В столице монгольского государства (так называемой „Золотой Орде“) — Сарае, близ нынешнего Сталинграда, господствующим среди монгольской аристократии языком уже в начале XIV века стал кипчакский язык, принадлежавший к тюркской системе и почти тождественный с языком населения Хорезма, с которым кипчаки — исконные обитатели обширных степей, раскинувшихся от Волги до Днепра, — поддерживали тесные торговые связи. Сарай был огромным по тому времени городом, с населением почти в сто тысяч человек. Наряду с широко поставленной интернациональной торговлей (в Сарай приезжали закупать товары и иранцы, и итальянцы, и венгры, и китайцы) там начала развиваться и литература на тюркском — „кипчакском“ языке. Мы знаем по именам довольно много поэтов, писавших в Золотой Орде и Хорезме, но от большинства их стихотворений сохранилось только по несколько строк. Полностью дошли до нас лишь немногие произведения.

Выдающееся место среди этих последних занимает поэма „Хосров и Ширин“, написанная неким Кутбом в подражание одноименному произведению Низами. Кто такой был Кутб — мы не знаем; время его жизни косвенно определяется тем обстоятельством, что поэма посвящена жене золотоордынского хана Тинибек-ка, правившего в сороковых годах XIV века. Хотя Кутб и называет себя простым переводчиком поэмы Низами, но в действительности его произведение включает в себе и кое-какие оригинальные черты. Особенно интересны у Кутба описания придворных обычаев, пиров, охоты и т. п., дающие яркие картины жизни золотоордынского двора.

Взяв на себя нелегкое дело — переложить сложную по содержанию и написанную блестящим языком поэму Низами на тюркское наречие с его, в то время еще не вполне сложившейся литературной и лингвистической традицией, Кутб, в общем, прекрасно справился со своей задачей. Избежав соблазна заменить перевод редких сложных речений оригинала простым перенесением в тюркскую речь соответствующих персидских или араб-

ских слов — прием, к которому нередко прибегали тюркские поэты последующих поколений, Кутб неизменно старался подыскать для переводимого выражения соответствующий тюркский эквивалент, что ему, в большинстве случаев, и удавалось.

Несмотря на свои высокие достоинства, поэма Кутба, повидимому, не имела особенного успеха и не пользовалась широкой известностью. До настоящего времени обнаружена лишь одна рукопись его „Хосров и Ширин“, переписанная в Египте.

Более оригинально по содержанию другое произведение, возникшее в Золотой Орде, примерно, в те же годы, что и поэма Кутба, — „Мухаббат-Намэ“ (Книга о любви) Хорезми. О жизни Хорезми мы также не имеем никаких сведений; находясь где-то на берегах Сыр-Дарьи, он написал свою „Мухаббат-Намэ“ по заказу одного из вельмож золотоордынского хана Джанибека Мухаммед-Ходжи-бека, который, между прочим, в пятидесятых годах XIV века приезжал в Москву ко двору тогдашнего московского князя. „Мухаббат-Намэ“ состоит из одиннадцати любовных писем, написанных арузом в форме месневи, то-есть рифмующих по полустихиям стихов. Четвертое, восьмое и одиннадцатое письма составлены по-персидски, остальные — на старо-узбекском языке. Письма эти дают нам традиционные схемы условной эротической лирики, совершенно отвлеченной, не связанной с какими-либо личными переживаниями автора. Для историка узбекской литературы „Мухаббат-Намэ“ интересно только как памятник языка. В этом отношении исследование поэмы Хорезми дает очень многое. Имея перед собой ряд образцов любовной переписки на персидском языке (вспомним, что еще Лейли и Маджнун, как и Ширин с Хосровом, в поэмах Низами пишут друг другу послания, полные страсти), Хорезми задался целью дать нечто подобное и по-тюркски. Выполнял он свою задачу хорошо: язык его „Писем“ богат и разнообразен; средствами поэтической техники, к тому времени уже значительно лучше разработанной, он владеет в совершенстве. „Мухаббат-Намэ“ Хорезми убедительно доказывает, что к XIV веку старо-узбекский литературный язык достиг высокой степени развития и был вполне пригоден для создания полноценных литературных произведений.

Наряду с поэзией, в Золотой Орде развивалась также и проза. В первые годы XV века Насир-ад-дин Рабгузи, по заказу монгольского эмира Тухта-Буги, составил сборник легенд — „Кысас-аль-Анбия“ (Сказания о пророках). Сочинение это сохранилось в довольно значительном количестве рукописей на старо-узбекском языке и издано в прошлом веке в Казани проф. Ильминским. Однако, есть основания думать, что первоначальный текст „Сказания о пороках“ был написан не на тюркском, а на арабском языке и не дошел до нас, а известная нам тюркская редакция представляет собой только перевод. Если это и так, то перевод „Кысас-аль-Анбия“ с арабского на старо-узбекский был сделан, очевидно, в том же XIV веке, ибо язык извест-

ной нам тюркской версии „Сказаний“ изобилует архаическими словами и грамматическими формами, встречающимися еще в „Кутадгу-билик“. „Сказания о пророках“ Рабгузи в лингвистическом отношении с полным правом могут быть названы связующим звеном между „Кутадгу-билик“ и „Хибат-аль-Хаканк“ с одной стороны и произведениями эпохи тимуридов с другой.

По содержанию „Сказания“ Рабгузи представляют собой живо изложенные легенды о ветхозаветных пророках. Материал свой Рабгузи черпал из самых разнообразных источников, не чуждаясь при этом и фольклора (один из его рассказов представляет собой буквальный перевод соответствующей сказки из „Тысячи и одной ночи“). Своей книгой Рабгузи подготовил почву для развития древне-узбекской прозы, достигшей полтора-два столетия спустя полного расцвета под пером Алишера Навои.

Из сказанного выше видно, какое значение имело для развития узбекской литературы возникновение культурного центра в Золотой Орде. Если древнейшие тюрко-язычные литературные памятники создавались на основе восточно-тюркского языкового материала, то литература Золотой Орды противопоставляет восточной ветви тюркского языка ветвь западную, в основе которой лежат хорезмско-кипчацкие диалекты, более близкие к живой разговорной речи населения значительной части Узбекистана. Из взаимодействия этих двух элементов и возникает в XIV—XV веках старо-узбекский литературный язык, развитый и обогащенный поэтами эпохи первых тимуридов и, за ними, создателем узбекской „Пятирицы“ — Алишером Навои.

*Л. УЛЬРИХ*

## **„ГОРЬКИЙ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ“<sup>1</sup>**

Советское литературоведение выдвинуло и решает ряд важных проблем в творчестве А. М. Горького. Имеется немало ценных работ общего характера, непрерывно пополняется биографическая литература, раскрываются теоретические, эстетические взгляды и позиции Горького, его стиль, жанры, исследуется история создания и публикации отдельных произведений. И все же творчество Горького столь многогранно, общественное и художественное его значение и историческая роль так велики, что многие вопросы остаются еще даже не поднятыми, не поставленными. Не исследованы философские истоки многих горьковских произведений; отсутствуют работы по языку писателя; не доведен до конца колоссальный труд покойного С. Д. Балухатого, систематизировавшего первопечатные тексты Горького и собравшего критическую литературу о нем; многие произведения, затерянные в периодической печати, до сих пор не переизданы.

Лишь начата работа по уяснению того влияния, которое оказал Горький на развитие передовой, революционной мысли и литературы во всем мире.

К числу оставшихся до сих пор не раскрытыми относится и проблема влияния Горького на национальные литературы Советского Союза. Между тем, кроме творческого воздействия, велика была инициатива, проявленная Горьким в создании национальных художественных кадров, многогранна его организационно-издательская и редакционная работа в области национальной литературы. Появлялись серьезные статьи и сборники, касавшиеся взаимосвязи Горького с какой-нибудь одной из национальных

<sup>1</sup> Н. К. Пиксанов. „Горький и национальные литературы.“ Огиз. Государственное издательство художественной литературы. Москва. 1946 г., стр. 320. Цена 7 р.

литератур или персонально с кем-либо из национальных писателей. Наиболее обследованной оказалась украинская литература. В ней имя Коцюбинского неоднократно рассматривалось в сопоставлении с Горьким: Взаимоотношения Горького с татарской литературой посвящена брошюра М. Гайнуллина<sup>1</sup>. Ряд авторов обращался к выяснению литературных связей Горького с Кавказом, где, кроме всего, А. М. Пешков стал собственно Максимом Горьким.

Авторы подобных работ ставили себе задачей раскрыть Горького в связи с какой-либо одной, конкретно взятой литературой или национальностью. Попыток обобщить материалы не было, хотя важность этого ощущалась уже в самом начале существования советской литературы. В обзорах первого серьезного советского критического журнала „Печать и Революция“ уже в 1921 г. рост национальных литератур рассматривался в сопоставлении с творчеством и публицистическими выступлениями А. М. Горького<sup>2</sup>.

В дни празднования юбилея 40-летия литературной деятельности писателя появилась статья „М. Горький и литература национальностей“ в журнале „Революция и национальности“<sup>3</sup>.

После смерти А. М. Горького, несмотря на то, что именно последнее десятилетие его жизни было богато фактами живой связи с национальными литературами, этим проблемам была посвящена почти единственная статья—Е. Сикар „Друг и учитель“<sup>4</sup>. Уже по крайне ограниченным размерам она могла лишь перечислить известные факты общения Горького с литературами национальных меньшинств в прошлом и, в самых общих чертах, сказать об огромном влиянии Горького на творчество национальных писателей, на рост их художественного мастерства.

Тем знаменательнее, что после военных лет первое значительное и обстоятельное исследование о Горьком посвящено именно интересующей нас теме.

Автор многочисленных работ о жизни и творчестве Горького, член-корреспондент Академии Наук СССР проф. Н. К. Пиксанов в своих ранее вышедших книгах „Горький и фольклор“, „Горький — поэт“ выдвигал совершенно новые проблемы горьковедения, являлся пионером в разработке их, намечал пути дальнейшего исследования. В недавно появившейся книге „Горький и национальные литературы“ проф. Пиксанов разрабатывает тему, до сих пор не являвшуюся предметом серьезного анализа ученых. Поднимаются принципиальные вопросы не только русской, но и всех национальных литератур. Книга сделана в плане задач, которые предстоит решать в ближайшем будущем: традиции и новаторство, литературные влияния и взаимообогащение различных ли-

<sup>1</sup> М. Гайнуллин. „Горький и татарская литература“, Татгосиздат, Казань, 1944 г., стр. 57.

<sup>2</sup> См. „Литература Коминтерна“ (обзор). „Печать и Революция“, 1921 г., № 2

<sup>3</sup> 1932 г. № 10—11.

<sup>4</sup> „Новый мир“ 1937 г., № 6.

тератур, связь литературы с русским и национальным фольклором. Особое значение имеет труд Н. К. Пиксанова для Узбекистана, так как автор его большое внимание уделяет связям А. М. Горького с узбекской культурой и литературой. Книга в значительной своей части родилась в Ташкенте, где Н. К. Пиксанов находился в эвакуации во время Отечественной войны; многие положения ее базируются на практике литературной жизни именно нашей республики. Научные работники Ташкента помнят первое сообщение Н. К. Пиксанова в Узбекском филиале Академии наук о Горьком — наставнике национальных писателей, сделанное в тяжелые дни ноября 1941 года. С тех пор прошло пять лет. Огромный материал был дополнительно собран для книги; узбекская действительность давала множество характерных типичных фактов и примеров. Об этом свидетельствовали печатные статьи того же автора, предупредившие появление книги<sup>1</sup>.

Книга, как резюмирует Н. К. Пиксанов, представляет образ Горького, „каким мы его раньше не знали“: она вводит в совершенно неизученную, неисследованную область.

Горький явился выразителем ленинско-сталинских принципов интернационализма в литературе. Все его творчество проникнуто этими принципами. Знаменателен в этом отношении был уже первый его рассказ: русский художник Горький рассказывает о цыганах Макаре Чудре, Лойке Зобаре, красавице Радде. Рассказ „Макар Чудра“ появляется в тифлисской газете „Кавказ“ при содействии украинца — революционера Калюжного, с благословения тоже украинца — Короленко.

Ранние рассказы Горького вырастают на почве русского и национального фольклора (валашского, буковинских цыган, кавказских народностей). Герои Горького, наряду с основной массой русских людей, — украинцы, татары, грузины, молдаване, жители Средней Азии.

Во втором периоде своего творчества Горький выступает с публицистическими статьями по национальному вопросу. Перед империалистической войной 1914 года, в дни разгула шовинизма русской буржуазии, Горький кладет начало борьбы за национальную литературу. Он организует и редактирует сборники армянской и латышской литературы, готовит сборник произведений грузинских писателей. В этой своей деятельности Горький прямо отвечает требованиям, выдвинутым нашей партией; откликается практически на те задачи, которые ставились перед революционной интеллигенцией товарищем Сталиным в его работах по национальному вопросу 1913 года.

О необходимости содействовать развитию литератур народно-

<sup>1</sup> Н. К. Пиксанов. „Горький в общении с писателями братских народов“. Альманах „Дружба народов“, кн. II. ГИХЛ, М. 1945 г.

Его же. „М. Горький и национальные литературы на Всесоюзном съезде писателей в 1934 году.“ Известия АН СССР. Отд. лит. и языка. Вып. 6, 1946 г.

Его же. „Горький и национальные литературы Советского Союза“. Вестник АН СССР, № 5—6, 1946 г.



стей Советского Союза Горький высказывается в первые же годы советской власти. Н. К. Пиксанов впервые публикует переданное ему Е. П. Пешковой сообщение о беседе Горького по этому вопросу с Лениным в 1920 году.

Горьковские предложения осуществились через несколько лет; с 1928 года Алексей Максимович постоянно лично общается с национальными писателями.

Чрезвычайно важными для развития национальных литератур явились горьковские положения о советской литературе, формулированные в статьях и письмах. Горький первый заговорил не о русской только, а о единой советской литературе, национальной по форме, социалистической по содержанию. Единую „все-союзную“ литературу Горький представлял себе, как результат взаимообогащения и „слияния“ многих литератур, а не „поглощения“ всех литератур в Союзе какой-то одной.

В личном архиве А. М. Горького в Москве хранится, кроме того, много неопубликованных высказываний великого писателя, относящихся непосредственно к этим основным положениям.

\* \* \*

В первой части рецензируемой книги раскрывается Горький — учитель, собиратель, организатор национальной литературы до Октября и в советское время. Изложение этого раздела базируется на следующих материалах, перечисляемых автором:

Произведения самого Горького, письма Горького к национальным писателям, воспоминания о Горьком национальных писателей и общественных деятелей, документальные данные (цензорские доклады, стенограммы и др.), критические статьи и суждения национальных писателей о творчестве Горького.

Изучение этих материалов позволяет раскрыть пути влияния Горького на национальные литературы. Автором определено четыре пути:

- 1) теоретическая и публицистическая пропаганда Горького,
- 2) воздействие его художественного творчества,
- 3) личное общение с национальными писателями и объединениями,
- 4) организационная деятельность писателя.

Подчеркивая ведущую роль русской литературы и Горького — ярчайшего выразителя ее лучших тенденций, автор говорит о взаимовлиянии, взаимосвязях их с литературами братских республик. Основываясь на ранее опубликованных данных<sup>1</sup> и привлекая много новых, Н. К. Пиксанов указывает произведения Горького, переведенные на узбекский язык. Это, в первую очередь, ранние рассказы: „Макар Чудра“, „Челкаш“, „Коновалов“,

<sup>1</sup> С. Левитина. „Произведения А. М. Горького на узбекском языке“. „Литература и искусство Узбекистана“, 1939 г., кн. 5 и др.

„Дед Архип и Ленка“, „Озорник“, „Песня о Соколе“, „Песня о Буревестнике“; романы — „Мать“, „Фома Гордеев“, „Дело Артамоновых“; автобиографическая трилогия — повести „Детство“, „В людях“, „Мои университеты“; пьесы — „Враги“, „Дети солнца“, „Васса Железнова“, „Егор Булычев и другие“; отрывки эпосов „Жизнь Клима Самгина“. „Через переводы шло первичное, непосредственное влияние Горького на национальные литературы“, — констатирует Пиксанов. Приводятся высказывания узбекских писателей: Хамида Алимджана, Хусайна Шамса, Абдуллы Каххара и др. о воздействии на них идей и образов Горького, о том, как в процессе переводов обогащался их собственный литературный язык. Устанавливается родственность жизненного пути поэта Гафур Гуляма с Горьким: повесть Гафур Гуляма „Озорник“ сближается с автобиографической трилогией Горького.

Указывается на роль Горького в организации I съезда советских писателей в 1934 году, впервые объединившем 52 национальные советские литературы. 23 из них, в том числе узбекская литература, были охарактеризованы на съезде в докладах и речах. Особое внимание было уделено узбекскому фольклору, воспевающему труд.

В докладе А. М. Горького на съезде раскрывалась задача, поставленная перед советской литературой И. В. Сталиным. Теоретически обосновывалась Горьким важность решения в национальном творчестве проблемы социалистического реализма. Именно этого касается недавнее высказывание поэта Шейхзаде: „Овладевая методом социалистического реализма, узбекские поэты вместе с тем в значительной мере сохраняют традиции романтической поэзии прошлого“<sup>1</sup>.

Первая часть завершается главой „Образ Горького в узбекской поэзии“. Здесь характеризуется лишь траурная национальная лирика, вызванная гибелью Горького в 1936 году. Привлечены плачи поэтов среднеазиатских республик: Джембула, С. Айни, коллективная поэма киргизских поэтов. Анализируется ода „На смерть Горького“ Шейхзаде, „Песня о Соколе“ Эминджана Аббасова. Выводы говорят о высокой идейной настроенности этих стихов, о том, что подвиг Горького был продуман и прочувствован их авторами, сумевшими создать впечатляющий героический образ великого русского писателя.

Во второй части книги раскрываются горьковские принципы строительства национальной литературы в действии. Автор называет ее: „Без Горького — по заветам Горького“.

Осмысливается воздействие идей и положений Горького после его смерти. Автору книги приходится частично повторять сказанное ранее о значении горьковского творчества, о значении его переводов и пр.

В раскрытии взаимодействия советских литератур, в по-

<sup>1</sup> Шейхзаде. „О поэтах Узбекистана“, Сборник „Поэты Узбекистана“, из-во „Советский писатель“, Ташкент, 1942 г., стр. 7.

казе развития театра и искусства национальных республик, особенно в период Великой Отечественной войны, автор приводит обширный материал (в подавляющем большинстве взятый из местной периодической печати), не ставя перед собой в данной работе задачу глубоко и детально проанализировать приведенные факты. Сам автор говорит лишь о „перечне“ явлений роста советской культуры. Перечень этот имеет хроникально-справочный характер.

Прямого отношения к Горькому не имеют, рассматриваемые в этом разделе книги, вопросы, подобные следующим: влияние Маяковского на узбекскую поэзию, изучение национальными литературоведами русской литературы, учеба узбекских драматургов у русских мастеров драмы, статистика переводов и изданий русской литературы на национальных языках и т. п. Но они не взяты изолированно. Они включаются в поток наблюдений того, как через Горького, с его помощью, приобщаются национальные кадры к русской культуре.

Ценны попытки сделать некоторые обобщения. Принципиальное значение приобретает проблема переводов. Н. К. Пиксанов рассматривает три вида переводной литературы: переводы русской литературы на языки народов СССР, переводы национальных литератур на русский язык и переводы произведений одной национальной литературы на языки других национальностей. Здесь — подлинные возможности взаимного знакомства со всеми национальными литературами всех наших республик, знакомства, осуществляемого через периодические издания, альманахи и антологии.

Напомним, какую большую роль сыграли сборники и альманахи переводов на русский язык узбекских поэтов, познакомившие читателей других республик с узбекской литературой. Мы вправе и сейчас возлагать большие надежды на альманахи национальных литератур, в том числе и узбекской<sup>1</sup>, готовящиеся в Москве к тридцатилетию Октябрьской революции.

Особое место занимает рассмотрение взаимного воздействия жанров и поэтики национальных литератур, в частности русской литературы, с восточными. Например: переход к тоническому сложению в узбекской поэзии; появление прозаического жанра в литературах Средней Азии. Наряду с этим приводится горьковское указание о том, что освоение национальных традиций восточной литературы значительно обогащает литературу русскую.

Наконец, очень убедительно утверждает Н. К. Пиксановым сила воздействия социалистического реализма, как ведущего стиля и метода советской литературы, на дальнейшее формирование национальных литератур. Действительно, социалистический

<sup>1</sup> „Антология узбекской поэзии“ (образцы узбекской поэзии с древнейших времен до наших дней) издается в Москве в Гослитиздате.

„Поэты Узбекистана“ (сборник советской узбекской поэзии) печатается в Москве в издательстве „Советский писатель“.

реализм, сберегая богатые национальные традиции литератур Востока, помогает высвобождению их из-под влияния 'ислама, мистических учений, богословской лексики и фразеологии.

Добавим, что через литературы Советского Востока, благодаря общности ряда языков, может идти дальнейшее идейное и художественное воздействие на прогрессивную литературу зарубежного Востока. Все это еще больше укрепляет мировое значение советской литературы.

Следует отметить в книге „Горький и национальные литературы“ некоторую нестройность композиции.

В главе XII третья подглавка посвящена вопросу внедрения в национальные республики русской — классической литературы. По своему значению она была бы очень уместна в начале книги и нарушает логичность изложения в этой главе вопроса о внутреннем росте братских литератур.

Глава XI, открывающая II часть книги, является повторением, порою дословно, в целых абзацах, ее I части. Это излишне, при заключительной части, посвященной общим итогам.

Имеются и другие повторения: несколько раз говорится о выступлении А. М. Горького на I съезде писателей, о его роли в организации писательских бригад (стр. 128, 180, 219 и 229), приводятся одни и те же цитаты („Берегите людей, способных создавать такие жемчужины поэзии, какие создает Сулейман.“ (Стр. 29 и 98). Неоднократно повторена фраза о значении писательских юбилеев (стр. 195, 251, 314)—Пушкина, Руставели, Шевченко и др.

Эти недочеты должны быть отмечены, но они, разумеется, несколько не снижают положительного значения книги. Последняя—ценный вклад как в изучение горьковского наследства, так и в разработку проблемы развития национальных литератур.

Новая работа Н. К. Пиксанова, подобно прежнему, отличается тем, что в ней впервые собран и систематизирован огромный фактический материал, до сего времени никем не обследованный, оседавший в недрах периодических изданий. Теперь в руках исследователей труд, позволяющий углубиться в изучение серьезнейших проблем воздействия Горького на литературы всех народностей нашего Союза. В книге обильно и детально представлена библиография.

Исследование Н. К. Пиксанова должно быть всячески учтено при дальнейших разработках вопросов, связанных с влиянием Горького на судьбы узбекской литературы. Очевидно, оно заинтересует и писателей.

Хотя Алексей Максимович скромно предупреждал: „У меня не учиться писать—я плохой пример“,—великий творческий пример Горького не может не привлекать к себе внимание каждого национального художника слова, а, следовательно, и всех интересующихся развитием многонациональной советской литературы.

## „ПОЭТЫ КИРГИЗИИ“<sup>1</sup>

Период Великой Отечественной войны явился вместе с тем периодом могучего расцвета многонациональной поэзии Советского Союза, единой по своей идейной направленности и разнообразной по своей национальной форме. Великие идеи защиты советской родины, советского патриотизма, сталинской дружбы народов характеризуют творчество советских поэтов, на каком бы они языке ни писали.

К многоязычному хору поэзии военных лет молодая советская киргизская литература присоединила свой поэтический голос: перед нами сборник, где в переводах на русский язык представлены стихи тринадцати современных киргизских поэтов: Алымкула, Джоомарта Боконбаева, Калыка, Кубанычбека Маликова, Османкула, Алыкула Осмонова, Аалы Токомбаева, Абдрасуля Токтамушева, Темиркула Уметалиева, Мукая Элебаева, Кубанача Акаева, Ракии Сатылгиновой и Омара Шимеева. По этому сборнику русский читатель может ознакомиться с думами и чувствами, которыми жил в годы войны народ одной из братских советских республик Средней Азии.

Лейтмотивом стихотворений киргизских поэтов является защита любимой советской родины от фашистского вторжения. Запевает народный акын Алымкул:

На высоких седых ковылях  
Скакунов киргизы пасут.  
Возле юрт, на жирных лугах  
Кони коновязи грызут  
И копытами роют песок,  
Скакуны достойны хвалы!

Это — боевые киргизские кони, „опора души“, „широкоплечих храбрецов“, которые несутся в бой по первому зову родины.

<sup>1</sup> „Поэты Киргизии“. Стихи 1941—1944. Переводы под редакцией Семена Липкина. „Советский писатель“. Москва, 1946.

Скачут на запад бегуницы,  
Скачут на запад храбрецы  
О киргизах сказать могу:  
Если двинутся на врага,  
Если кинутся на врага,  
Если ринутся на врага,  
Не сдобровать тогда врагу.

(„Киргизский конь“, перев. С. Липкина).

Та же эпическая простота и выразительность отмечают и песню Алымкула „Родник изобилия“. Сочными мазками нарисовав весенний пейзаж („Золотою лопатой ветер от снегов очищает поля“, „Гул прекрасный, звон многоголосый в белоствольных звучит лесах“), акын бросает призыв: „Земляки, поработаем с честью, чтобы с честью встретить сынов“. Здесь нет места пассивному созерцательству, и призыв к героическому труду в тылу из уст акына выливается просто и естественно.

За акыном-импровизатором следуют другие поэты, углубляя и обогащая уже намеченные мотивы. Любовь к раскинувшемуся среди алатауских хребтов родному краю, к зеркальному Иссык-Кулю, к своему трудолюбивому народу согревает всю поэзию, представленную в сборнике. Любовь к родной Киргизии — это вместе с тем и любовь ко всей советской родине, к Москве и Кремлю, к великому вождю народов. Глубоко доверие киргизов к русскому народу, велика и чистосердечна благодарность по его адресу, высказанная устами Кубанычбека Маликова:

Росси! Народом своим ты горда,  
Его величаяя воля тверда,  
Но бьется в груди его доброе сердце,  
Друзьям он на помощь приходит всегда,  
Свободой своею и счастьем своим  
Он делится щедро с народом моим.

(„Россия“, перевод В. Випликова).

И поэт Боконбаев поет о том, как киргиз „сражается жестоко, защитив своей рукой в Подмосковии далекой жизнь Киргизии родной“ („Сын вам пишет издалека“, перев. А. Адалис).

Киргизия — родина славного советского полководца М. В. Фрунзе. Его имя носит столица советской Киргизии. Глубоко лирическое стихотворение посвящает ему поэт Маликов:

Вспоминая о тебе, земляк, пою,  
Прославляя землю щедрую свою.  
Как не петь, когда народ моей земли  
Люльку легкую покачивал твою.  
Я рожден, герой, с тобой в одном краю,  
Там, где тополь наклоняется к ручью.  
Я ходил на ту же речку возле скал,  
Где ты первые кораблики пускал,  
И из чия делал мельницы, как ты,  
И, как ты, в запруде рыбок я искал,  
Видел я в дали высокий перевал,  
Тот, который в раннем детстве ты видел.

Поэт прославляет своего знаменитого земляка, который „из ленинского моря воду пил“, и восклицает:

Полководец, друг, земляк! Я сердцем рад,  
Что ты мне и всем киргизам кровный брат!

(Перев. В. Випникова).

Многие стихотворения сборника по жанровым признакам могут быть объединены в своего рода циклы. Это, во-первых, стихотворения-прощания, в которых герой-джигит прощается с родной землей, родными и отправляется на фронт, обещая мужественно отстаивать свободу и независимость советского государства. Во-вторых, это стихотворные послания родителей к сыну-воину и сына-воина к отцу и матери. В-третьих, это письма воина к возлюбленной и письма девушки к воину-возлюбленному, письма, в которых речь идет о любви и верности и где личные переживания всегда подчинены патриотическому долгу.

Господство „прощаний“ и „посланий“ приводит к известному жанровому однообразию, к поэтическому штампу и перепевам. Однако в ряде случаев мы встречаем глубокий лиризм и непосредственность поэтического чувства, в какой-то мере искупающие этот жанровый стандарт.

Ряд стихотворений посвящен героям, прославившимся на фронтах Отечественной войны („Курбан-Дурды“ Маликова, „Курбат Джуматаев“ Уметалиева). Однако здесь следует указать, что в характеристике героизма советского воина у отдельных киргизских поэтов проскальзывает вредная тенденция, выражающаяся в том, что героизм и патриотизм советского воина механически отождествляются с героизмом и патриотизмом до-советской эпохи. Так герою Советского Союза Курбан-Дурды поэт Маликов дает в „прадеды“... султана Кер-Оглы. Известно, что киргизский народ обладает замечательным эпосом „Манас“. Отдавая должное этому памятнику народного творчества, нельзя однако согласиться с тем, что поэт Уметалиев советскому кавалеристу в свою очередь дает в прадеды эпического героя Манаса. В стихотворении Уметалиева „Мой прадед—Манас“ советский воин равняется по Манасу и заявляет: „Манасу я не уступлю ни в чем“. Поэт Аалы Токомбаев также утверждает, что летчик Бейшен был не только „земляком Манаса“, — „из породы Манаса он был“ (подчеркнуто нами. С. Л.). Ясно, что такая трактовка советского героизма ошибочна.

Ориентация на старину, на поэтические каноны эпического творчества в значительной мере определяют и образную систему стихотворений сборника. Из арсенала эпического творчества заимствуются образы крылатого коня—тулпара, эпического богатыря—батыра, широко применяются эпические сравнения героя воина со львом, леопардом, орлом, соколом и т. д. Образная система киргизских поэтов недостаточно обогащается из источника живой советской действительности, и это

заметно снижает идейный уровень поэзии, не дает глубокого раскрытия чувств и переживаний советского человека, активного борца и строителя коммунизма.

Существенным недостатком сборника является и то, что в нем почти не представлена поэзия о героической работе советского тыла, не показан труд киргизского народа в годы войны.

В переводах киргизских поэтов на русский язык принимали участие русские поэты: С. Липкин, В. Винников, А. Адалис, М. Тарловский, Н. Манухина, А. Глоба, Г. Шенгели, Л. Пеньковский, С. Обрадович, К. Арсенева и Н. Чуковский. Переводы далеко не равноценны, некоторые из них просто небрежны. В переводах Н. Чуковского из поэта Абдрасуля Токтамушева находим такие поэтические „перлы“: „Огонь в зрачках сиянье раз-метал“, „две сабли взяв двумя руками“, „врагов, как прах, перед собой гоня“; герой стихотворения, по воле Н. Чуковского, „силен, как лев надменный (?), стал“, а его „гордый взор внушает лю д я м (?) страх“. В переводах самого редактора книги С. Обрадовича так же не все благополучно. В стихотворении „Прощай“ герой пишет возлюбленной: „Тебя зацелую без счета за раз (?)“, а в описании вражеского нашествия встречаем совершенно курьезную строку: „За ворот (?) нас враг коварный схватил“. В переводе стихотворения „Приду“ Уметалиева С. Обрадович, злоупотребляя деепричастными оборотами, начинает противоречить самому себе:

Когда задрожавший (?) мир оголя,  
Одевшая в саван леса и поля,  
Отступит зима, о пощаде моля (?),  
Тогда я к тебе приду с войны.

Так и остается неясным — „оголяет“ зима мир, или „одевает его!“

Редактор переводов С. Липкин и редактор сборника С. Обрадович ответственны за эти и подобные им небрежности в переводах.



## ЗА РУБЕЖОМ

ПРАТАП СИНГ

### НАРОДНЫЙ ТЕАТР В ИНДИИ

Подъем национально-освободительного движения, переживаемый Индией за последние восемь лет, вызвал небывалый еще в этой стране расцвет народного искусства и литературы. Отношение же к ним со стороны политических организаций всех направлений и ожесточенная борьба между левыми и правыми организациями на всеиндийской конференции писателей и на конференциях, посвященных проблемам важнейших видов искусства, свидетельствуют о том, что искусство и литература в свою очередь начинают играть в этом движении не последнюю роль. Особое внимание в настоящее время привлекает проблема реформы индийского народного театра.

Индия — страна древней и самобытной театральной культуры. Зарождение драмы (а следовательно и театра) в Индии восходит к глубокой древности. Еще в легендах о юности Будды упоминается о том, что среди наук, изученных царевичем из рода Шака, было и сценическое искусство. Индийский эпос построен в форме диалога, что указывает на возможность непосредственной театральной интерпретации его, хотя и в примитивной еще форме; драматические диалоги встречаются и в самых древних памятниках индийской литературы — в священных книгах древних индусов — Ведах.

Древнейшая известная в литературе форма индийского театрального представления — пантомима, сопровождаемая сказом в определенном музыкальном ладу. Эта синкретичность первой театральной формы отразилась и в том термине, которым назывался каждый из участников такого представления: „ната“ — значит актер, но также означает и актер-пантомимист. Это слово образовано из санскритского глагольного корня — „нат“, имевшего значение „танцевать“, „изображать пантомимой“. В дальнейшем эти пантомимы были расширены, текст читался уже не сказителями в качестве своеобразного устного либретто, а был вложен

в уста отдельных актеров. Спектакль, однако, сохранил во многом свою синкретичность и включал в себя и элементы оперы, и элементы балета, и элементы драмы. В народной среде и в наше время бытует пантомима в ее древней, почти не измененной форме, хотя содержание ее уже новое, соответствующее требованиям настоящего дня.

Театральное искусство в Индии по вполне определенным, исторически обусловленным причинам резко разделилось на два противоположные, а в известные периоды и явно враждебные друг другу, направления. Одно — классический индийский театр — развивалось при дворах феодалов всех рангов и степеней, от блистательного двора династии Гупта до захудалого двора какого-нибудь третьеразрядного его вассала; другое — пантомима и „действие“ — жило в народе и создавалось народом. Первое всячески высмеивало народ в характерах, в манерах, пародировало народный язык, воспевало деяния богов и царей; второе воспевало героические подвиги народных героев, создавало бессмертные образы борцов за справедливость. И нужно сказать, что придворная поэзия и драматургия индийского феодализма лишь тогда достигали подлинных высот, когда они обращались к народной поэзии и за сюжетами, и за художественными средствами.

С приходом в Индию ислама придворный театр вообще начинает влачить жалкое существование, и индийское театральное искусство сохраняется только в народе, который бережно хранил его на протяжении столетий и донес в неприкосновенности до нашего времени.

В конце XVIII века, когда Ост-Индская компания прилежно занималась разграблением сокровищ Индии и безустали изыскивала новые методы этого столь прославившего ее занятия, нашелся единственный человек в ее штате, который интересовался индийской культурой и думал о дальнейших судьбах этой культуры. Это был русский человек, Герасим Лебедев<sup>1</sup>, бывший музыкант русского посольства в Англии, один из тех замечательных русских людей, которые, будучи сами горячими русскими патриотами, всем сердцем отдавались благородному труду посильной помощи тому народу, в среду которого их забрасывала жизнь.

Именно Г. Лебедеву принадлежит честь основания в Калькутте первого театра европейского типа с актерами-индусами. Он же был и первым драматургом, пьесы которого ставились в этом театре. За время своего пребывания в Индии Г. Лебедев овладел языками бенгали и хиндустани и переводил на эти языки пьесы европейских драматургов, в том числе Мольера. Индусы-актеры усвоили преподанную им европейскую театральную технику, и театр давал регулярные представления. Однако Герасим Лебедев в своей попытке создать индусский театр европейского типа с учетом индусских театральных традиций ниоткуда не получал

<sup>1</sup> Архив Герасима Лебедева хранится в составе архива князей Вяземских в Остафьево.

поддержки; все дело держалось только на его инициативе и энтузиазме актеров-индусов, и театр этот пришел в упадок, как только Г. Лебедев выехал в Россию.

В состоянии упадка индийский национальный театр находился, в сущности, до последнего времени. Попытки возродить индийскую театральную традицию, исходившие либо от отдельных деятелей культуры и искусства (например, Рабиндраната Тагора), либо от отдельных групп любителей, оставались только в большей или меньшей степени любопытными экспериментами, доступными чрезвычайно узкому кругу людей.

С подъемом национально-освободительного движения в Индии возникло множество мелких трупп, рассеянных по разным городам страны и разрозненных, но движимых единой идеей — идеей создания театра для народа. Молодые артисты, создававшие эти труппы и являвшиеся либо членами Индийского Национального Конгресса, либо членами Коммунистической партии Индии, либо членами Мусульманской лиги, в конце концов объединились на общей платформе и организовали своеобразный „единый фронт в искусстве“. Следует отметить, что цементирующую роль в этом деле играли, в большинстве случаев, коммунисты.

По предложению некоторых руководящих работников Индийского Национального Конгресса и Коммунистической партии Индии в 1941 году в Бомбее была создана Ассоциация Индийских Народных Театров, которая и начала свою деятельность 1 мая того же года в рабочем квартале Бомбея спектаклем „Дала“.

Ассоциация быстро завоевала любовь и признание народных масс. В настоящее время, несмотря на затруднения, вытекающие из существующего в Индии многоязычия, Ассоциация Народных Театров имеет свои отделения во всех крупнейших городах Индии.

Для того, чтобы дать более полное представление о масштабах и характере деятельности Ассоциации, остановимся подробно на деятельности ее Бомбейского отделения.

За время своего существования Бомбейское отделение Ассоциации Народных Театров дало свыше 600 представлений в разных залах Бомбея, на открытом воздухе и в сельских местностях. И каждое ее представление собирало огромные массы зрителей — трудящихся и передовой интеллигенции.

Из среды молодых актеров-энтузиастов Бомбейского театра выдвинулся талантливый артист Рамеш Тхапур, каждое выступление которого сопровождается блестящим успехом. Следует отметить также превосходную работу выдающегося режиссера Хима Кесаркоди, осуществившего большую часть постановок Ассоциации, в том числе, между прочим, постановку пьесы прогрессивного индийского писателя Мульк Радж Ананда — „Они пришли в город“.

О характере деятельности Ассоциации, о ее демократической направленности можно судить по репертуару того же Бомбейского отделения. К середине 1946 года драматическая труппа отделения имела в своем репертуаре пьесу М. Р. Ананда — „Они

пришли в город", Биджона Бхаттачарья — „Дети земли“, Чандравадана Мехта — „Сита“ и „Ааг гаари“, Кришан Чандара — „Я не могу умереть“. Все эти пьесы посвящены самым насущным проблемам индийской жизни — борьбе за национальную независимость, крестьянскому вопросу, рабочему движению, положению женщины. Из пьес иностранных авторов Ассоциация включила в свой репертуар такие как „Чайка“ А. П. Чехова, „Звезда становится красной“ Шон О. Кейси и „Жду Лефти“ Клиффорда Оддета.

Репертуар Бомбейского театра расширяется непрерывно и прежде всего за счет национальной прогрессивной и демократической драматургии. Реалистическое направление является существенной гарантией того, что Ассоциация находится на верном пути к созданию подлинно народного театра.

С 1944 года в составе Бомбейского отделения Ассоциации возникла балетная труппа, насчитывающая 30 артистов. Вся труппа состоит из молодых артистов, часть которых училась у знаменитого индийского танцовщика Удай Шанкара, первоклассного знатока индийского классического танцевального искусства, основателя новой школы индийского танца. Труппой руководят композитор Равиндра Шанкар, младший брат Удай Шанкара, тоже тонкий знаток индийского классического танца, его сложного ритма и необыкновенной, не имеющей себе равной в мире пластики, и балетмейстер Шанти Бардхан, один из выдающихся учеников Удай Шанкара. Из других деятелей балетной труппы упомянем музыкального руководителя Абани Дасгупта и двух балетмейстеров Сачин Шанкар и Шарма, неустанному труду и большим талантам которых труппа в значительной степени обязана своим высоким мастерством.

Первой постановкой балетной труппы, привлечшей к себе внимание театральной общественности, был балет „Дух Индии“, выдержанный в традициях индийского классического танца, но в значительной мере насыщенный злободневным содержанием. Следует отметить, что в финале спектакля по сцене проносили три знамени — Индийского Национального Конгресса, Красное знамя и Знамя Мусульманской Лиги. Эта сцена являлась символом единого антифашистского фронта.

Второй постановкой, доставившей балетной труппе всеиндийскую славу, был балет „Индия бессмертна“, показанный во всех крупнейших городах страны, а также во многих деревнях. И в городах, и в сельских местностях этот спектакль собирал многотысячную аудиторию, с восторгом встречавшую артистов.

Прогрессивная пресса также откликнулась на эту постановку. Мы позволим себе привести отзыв газеты „Бомбей Кроникл“ — органа Национального Конгресса; из этого отрывка можно судить и о содержании балета:

„Индия бессмертна“... достигла выдающегося успеха в сочетании искусства и исторической правды. Патриотическая гордость традициями нашей общей родины является

основой этой впечатляющей композиции, за 45 минут излагающей сущность 4500-летнего развития Индии... Прошлое родины многотысячной массы зрителей, воодушевленных этим эпическим спектаклем, одновременно и потрясает и ободряет... Балет, созданный артистами и постановщиками Ассоциации, поражает редким равновесием между искусством и социальной сознательностью. С гениальной артистичностью только средствами музыки и хореографии раскрыт сюжет балета „Индия бессмертна“: красота древней культуры, заимствующей силу от гор и благополучие от стремящих свои воды в долинах рек; пыл веры и естественная живость и непринужденность простого народа; столкновение с новой цивилизацией в связи с приходом ислама в Индию и, как результат его, синтез двух культур; прибытие европейского „чародея“ с его ящиком с фокусами; господство империалистов и первые вспышки протеста; движение за реформу просвещения, революционный подъем масс и репрессии против движения Свадеша, возникновение капитализма и развитие промышленности...

...Это не просто соединение исторических фактов и их драматизация на условном языке танца, но художественное выражение духа народа, его культурного наследства, его надежд и ожиданий, его воли быть свободным<sup>1</sup>.

Балетная труппа доставила себе известность не только большими постановками, но и малыми жанрами—танцами, сценами и инсценировками народных праздников. Так, в ее репертуар в 1946 году входили танцы „Чатуранга“, „Гаджан“, „Лодочники“, „Рыбаки“, инсценировки праздника Холи и народное представление Рас Лила, в основе которых лежат легенды о Кришне.

\* \* \*

Ассоциация не получает ни субсидий от государственных органов, ни сколько-нибудь существенной финансовой помощи со стороны Индийского Национального Конгресса. Она существует на сборы со спектаклей.

С. Састри, характеризуя Ассоциацию Индийского Народного Театра, 14 апреля 1946 г. писал в „Бомбей Кроникл“:

...они оправдывают свой девиз (Народное искусство— для народа! П. С.), возвращая искусство родины народу. Группа юношей и девушек, полных энтузиазма, пожертвовавших свои жизни ради благородной идеи организации, несет провозвестие свободы и единства в отдаленнейшие деревни Индии. Пожалуй, она более популярна в деревнях, нежели среди искушенной городской публики.

<sup>1</sup> „Бомбей Кроникл“, 20.1.1946 г.

При посредстве пьес, танцев, балетов, повед<sup>1</sup> и других форм народного искусства эта Ассоциация делает наш народ более сознательным и политически, и социально.

...Во время голода в Бенгале одна только балетная труппа собрала почти 100.000 рупий в фонд помощи голодающим<sup>2</sup>.

Ассоциация до сих пор не имеет своего постоянного, специально оборудованного помещения. В городском управлении Бомбея в течение длительного времени обсуждался вопрос о выделении средств на строительство театрального здания, но вопрос о том, будет ли это здание предоставлено Ассоциации, до сих пор остается открытым.

Передовая интеллигенция страны сочувственно относится к Ассоциации и защищает ее от клеветы и нападок. Однако представители реакционных кругов всячески пытаются опорочить как саму Ассоциацию, так и ее руководство и всех ее членов. Ненависть, питаемая этими кругами к Ассоциации, усиливается, очевидно, тем, что и в составе артистических трупп, и в составе руководства Ассоциации, наравне с представителями других прогрессивных организаций, участвуют коммунисты.

Несмотря на материальные затруднения, несмотря на жестокую политическую цензуру, несмотря на поток клеветы, изрыгаемый и устно и печатно разными политиками, вроде члена конгресса Социалистической партии С. Батливала, Ассоциация Индийского Народного Театра развивается и расширяет поле своей деятельности. В ее составе возникают новые отделения и группы: возникла специальная бенгальская секция, осуществившая постановку оперы; маратская секция разделилась на две, причем одна из них является драматической труппой, а другая посвятила себя специально сбору и сценической интерпретации маратских народных песен, возникла также драматическая секция, дающая представления на языке телугу.

Деятельность Ассоциации получила положительные отзывы и со стороны передовых деятелей европейского театра. Джозеф Маклеод, видный английский театральный критик, автор нескольких работ о советском театре, пишет, что нынешний подъем национальной культуры в Индии может быть сравним с тем подъемом который переживал Узбекистан в первые годы после Октябрьской революции.

„Народное искусство,—пишет он в журнале „Our Time“,—превращается в драму на наших глазах. Бенгальский народный театр ставит даже оперы. Мы можем свидетельствовать рождение подлинно Индийского театра“.

Советский театр, унаследовавший великие демократические традиции русского классического театра, подлинно народный и в своих основах и в своих проявлениях, вдохновляемый беспримерными трудовыми и боевыми подвигами великого русского народа и его замечательных собратьев, в настоящее время не

<sup>1</sup> Военная баллада, возникшая в эпоху махратских войн.

имеет себе равного в мире. Советское сценическое искусство, теоретически обоснованное такими выдающимися артистами, как народные артисты Союза ССР К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко, вызвало к жизни могучие народные таланты.

Театр в советских республиках Средней Азии достиг в своем развитии высокого уровня и непрерывно совершенствуется. Он уже смог выдвинуть таких выдающихся мастеров сцены, как народный артист Союза ССР Абрар Хидоятов, народная артистка Союза ССР Сара Ишантураева, народная артистка Узбекской ССР Тамара Ханум, народный артист Союза ССР М. Касымов, Туфaxon Фазылова и многих других. Репертуар его обширен и включает лучшие образцы мировой и национальной драматургии.

При наличии крепких связей с театрами Советской Средней Азии Индийский народный театр мог бы многое воспринять и многому поучиться у узбекского, таджикского, киргизского, казахского и туркменского театров.

Трудящиеся Советского Союза, самого искреннего и бескорыстного друга и соседа Индии, сочувственно следят за героической борьбой народов Индии за свою национальную независимость и радуются каждому успеху их в этой борьбе. Они шлют свои лучшие пожелания Ассоциации Индийского Народного Театра, ибо она—воплощение великих народных культурных традиций неделимой Индии, героический борец за ее национальную культуру.

# СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| А. Каххар. „Два чинара“. Роман. Продолжение. Перевел с узбекского Н. Ивашев | 1  |
| Гафур Гулям. Золотая медаль. Стихи. Перевел с узбекского В. Липко           | 18 |
| М. Шейхзадэ. Мой голос. Стихи. Перевела с узбекского С. Сомова              | 20 |
| Содык Каландар. Мы на Урале. Повесть. Продолжение                           | 22 |
| Светлана Сомова. Февраль. Стихи                                             | 54 |
| Ирина Гуро. Кармен. Рассказ                                                 | 55 |
| А. Иванов. Ущелье. В Аральском море. Стихи                                  | 60 |
| Сергей Волгин. Корофкое знакомство. Рассказ                                 | 62 |
| Сергей Данилов. Встреча. Журавли. Стихи                                     | 67 |
| М. Быкадоров. Кузнец. Стихи                                                 | 69 |
| Дмитрий Захаров. Два стихотворения                                          | 71 |
| Ал. Шмаков. Гости. Быль                                                     | 74 |
| М. Киселев. В песках. Очерк                                                 | 81 |
| В. Разумов. В Гиссарских горах. Очерк                                       | 87 |

## СТАТЬИ

|                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| С. Лиходзиевский. Творчество Владимира Липко                                | 94  |
| М. Салье. Очерки по истории узбекской литературы. Литература XII—XIII веков | 103 |

## БИБЛИОГРАФИЯ

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Л. Ульрих. „Горький и национальные литературы“ | 110 |
| С. Л. Поэты Киргизии                           | 117 |

## ЗА РУБЕЖОМ

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Пратап Синг. Индийский народный театр | 121 |
|---------------------------------------|-----|

РЕДКОЛЛЕГИЯ: М. АЙБЕК, В. В. ЕРШОВ, С. А. ЛЕВИТИНА,  
В. А. ЛИПКО, С. А. МАЛЫТ, Т. САДЫКОВ, С. А. СОМОВА,  
М. И. ШЕВЕРДИН (отв. редактор), М. ШЕЙХЗАДЭ.

Адрес редакции „Звезда Востока“: Ташкент, Первомайская, д. № 20.  
Телефон 3-38-81

Подписано к печати 7/IV 1947 г. Печ. листов 8. Тираж 4000 экз.  
Цена 10 р. Зак. 1036. P 02278

Типография изд-ва „Пр. Вост.“ и „Кзыл Узб.“, г. Ташкент, ул. Дзержинского, 8





Цена 10 руб.